ПИОНЕР

П349
П 29
34

14

К борьбе за рабочее дело будь готов!

ПИОНЕР

№ 14

Орган ЦБ детской коммунистической организации им. Ленина при ЦК ВЛКСМ
Адр. ред.: ул. Горького 8. Тел. 5-60-76

Июль 1934

Выставка в музее

В Музее изящных искусств высокие прохладные залы. Идешь из одного зала в другой как из эпохи в эпоху. Внизу саркофаги и мумии египетских фараонов, рядом огромные барельефы крылатых ассирийских быков с человеческими головами. В других залах белые статуи греческих и римских богов, скульптуры и картины, созданные лучшими художниками человечества.

А во втором этаже, рядом с мраморными статуями богов,— детские картинки. Рисунки девочек и мальчиков с'ехались почти со всего мира на международную выставку детского рисунка в Москве и разместились на стенах большого музея.

Такой интересной выставки мы не видели много лет. Там было полторы тысячи замечательных рисунков. На выставке были рисунки очень наблюдательных ребят с большой фантазией. Они очень верно и внимательно рисовали и смело яркими красками раскрашивали свои картинки.

На выставке можно было сразу отличить рисунки советских ребят от иностранных.

Испанские ребята рисовали бой быков и портреты торреадоров. Один американский мальчик сделал очень хорошие рисунки к Робинзону Крузо, мы их поместили в прошлом номере журнала. Английские ребята выставили неважные рисунки, они срисовывали с плакатов или конфетных коробок.

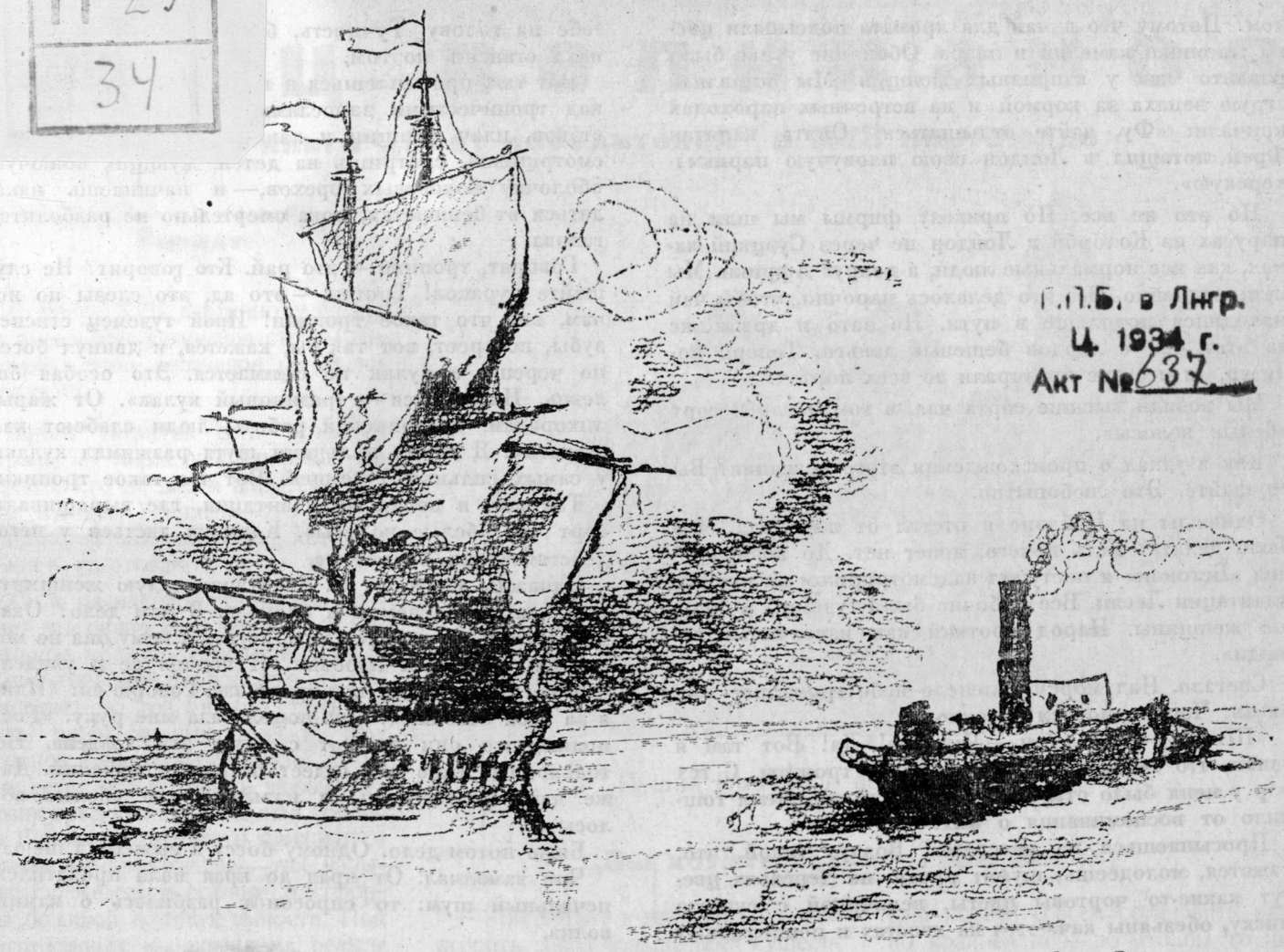
Наши, советские ребята, рисуют все: и северных оленей, и школьных лодырей, и птиц, и тракторы. По на самых ярких и самых больших рисунках нарисованы стратостаты, каракумский пробег и ледоколы — то, чем жила наша страна последний год.

У заграничных ребят нет таких рисунков.

В этом номере мы помещаем несколько хороших рисунков с выставки.

П 29
34

Г.Л.Б. в Лнгр.
Ц. 1934 г.
Акт №637



К. Паустовский *Рис. А. Фонвизина*

БЕЛЫЕ ВОЛОСЫ

Маленький белый дом стоял на самом берегу моря. Во время шторма брызги залетали в комнаты. Но сейчас барометр показывал «ясно», море едва слышно шепталось с песком на пляжах и ветер не шумел в старых акациях. Ничто не мешало капитану Чопу рассказать нам эту не совсем обыкновенную историю о высшем сорте цейлонского чая.

Капитан показал на модель корабля, висевшую под потолком, и пробормотал:

«Рекомендую. Чайный клипер «Бегония». Последний клипер в мире. Я плавал на нем три года».

Чоп отличался болтливостью. Он считал, что болтовня — лучший вид отдыха. Он часто говорил многочисленным приятелям:

«Пойдем отдохнем, поболтаем!»

Мы знали, что Чоп не удержится, чтобы не рассказать какой-либо истории. Чоп, действительно, не удержался.

«Вы думаете, старик врет и клипера давно сгнили. Верно, сгнили. Не спорю! Но один клипер — вот эта самая «Бегония» — ходил с Цейлона в Англию до самой войны. Это был чайный клипер, красавец. Перед каждым рейсом мы его красили лаком, и он всегда блестел как мокрый.

Капитаны паршивых грязных угольщиков злились на нас и поднимали сигналы: «Душечка, подбери подол, а то мы тебя замараем». Нас называли «холуями чайного клуба». Нас ненавидели во всех портах. Почему? Постойте, дойдем и до этого.

Мы возили чай из Коломбо в Лондон, особый сорт чая, самый страшный, по-моему, сорт. Он назывался «белые волосы». Лучшим чаем считался тот, который перенес длительную перевозку. В пути чай в цибиках крепнет, набирает аромат, получает тонкий вкус. Говорят, здесь действуют время, воздух и теплота. Разве зря лучшим чаем у вас, в России, считался в старые времена «караванный». Его везли больше года на караванах из Китая к вам. В дороге третьи сорта превращались в первые. Вот видите, я тоже в этом деле кое-что маракую.

Вот тут-то, в этих свойствах чая, и находится причина существования нашего клипера.

Он принадлежал чайной фирме Лесли. Почти весь чай эта фирма возила на железных пароходах, но должен вам заметить, что чай впитывает запахи, как промакашка чернила. На пароходах чай терял аромат. Чай впитывал запахи железа, угля, кожи, тухлой воды и крыс,— вообще всякой трюмной дряни. Этот чай — пароходный — шел на широкий рынок, а для любителей, для гурманов, чтоб они пропали, чай привозили на деревянном клипере.

Мы не пахли крысами. Мы пахли пальмовым деревом и жасмином. Честное слово! Почему же жасми-

ном? Потому что в чай для аромата подсыпали цветы жасмина, камелий и лавра. Обоняние у нас было развито как у капризных женщин. Мы оставляли струю запаха за кормой и на встречных пароходах кричали: «Фу, дайте отдышаться! Опять капитан Фрей потащил в Лондон свою пловучую парикмахерскую».

Но это не все. По приказу фирмы мы шли на парусах из Коломбо в Лондон не через Суэцкий канал, как все нормальные люди, а вокруг Африки. Мы шли медленно. Все это делалось нарочно, чтобы чай находился подольше в пути. Но зато и драли же за этот чай с лордов бешеные деньги. Теперь понятно, за что нас презирали во всех портах.

Мы возили высшие сорта чая, в том числе и сорт «белые волосы».

Как я узнал о происхождении этого названия? Вы слушайте. Это любопытно.

Однажды на Цейлоне я отстал от парохода. Что было делать? Есть нечего, денег нет. До возвращения «Бегонии» я поступил надсмотрщиком на чайные плантации Лесли. Все рабочие были туземцы и больше женщины. Народ кроткий как извозчичьи лошади».

Светало. Над морем зеленело небо громадное как океан. Чоп посмотрел за окно.

«Штиль,— сказал он.— Чудесно! Да! Вот там я узнал, что такое колонии, что такое тропики. С тех пор у меня было отвращение к тропикам. Меня тошнило от воспоминания о них.

Просыпаешься на рассвете... Воздух такой, что, кажется, молодеешь, шумят ручьи, на деревьях цветут какие-то чортовы цветы, величиной с супную миску, обезьяны качаются на хвостах и поплевывают тебе на голову. Тучность, богатство! От одного запаха станешь поэтом.

Вот так, просыпаешься и видишь огромное солнце над тропическими зарослями и слышишь хлопанье стэков, плач женщин и лающие голоса боссов-надсмотрщиков, смотришь на детей, жующих вонючую оболочку кокосовых орехов,— и начинаешь накаляться от бешенства, пока смертельно не разболится голова.

Говорят, тропики — это рай. Кто говорит? Не слушайте дураков! Тропик — это ад, это слезы по ночам, вот что такое тропики! Иной туземец стиснет зубы, посереет, вот так бы, кажется, и двинул босса по черепу, а кулак не сжимается. Это особая болезнь. Называется — «резиновый кулак». От жары, лихорадки, дьявольской работы люди слабеют как выжатые. Я двумя пальцами шутя разжимал кулаки у самых сильных туземцев. Вот что такое тропики.

Так вот, я попал на плантации, где выращивали сорт чая «белые волосы». Кончики листьев у него, действительно, беловатые.

Однажды я застал на плантации седую женщину. Она лежала на земле и плакала. В чем дело? Оказывается, у нее заболел муж, а уйти к нему она не может: выгонят или изобьют. Я поднял ее и увидел, что она еще молода, вот вроде вас. Говорю ей: «Иди, я за тебя отвечаю». Она поцеловала мне руку. «Господин, что они делают с нами, эти хозяева. Не только мы, даже чай седеет от наших мучений. Даже чай! Поэтому мы и называем его «белые волосы».

Было потом дело. Одному боссу я вывихнул шею».

Чоп замолчал. От края до края мола прокатился печальный шум: то спросонок разбилась о камни волна.

Отец великанов

Из книги „Слет победителей“ о XVII партс'езде

Гигант

С Урала XVII партийному с'езду от имени всех великанов страны салютовал отец великанов по имени Уралмаш.

Много гигантов есть в нашей стране, но таких, как Уралмаш, ни одного. Его не даром называют отцом заводов. Уралмаш—это первый и единственный наш завод, который может изготовлять целые заводы.

Он с одинаковой точностью сделает вал океанского парохода и маленькое колечко с полдюйма. Для того чтобы увезти все, что он наработает за год, нужно тридцать пять тысяч сильных амовских грузовиков. Делает же он такие тяжелые вещи, под которыми любой грузовик треснет как спичечная коробка. Чтобы их перевезти приходится вызывать «крокодилов»—так называются железнодорожные платформы большой грузопод'емности. Под нагруженным «крокодилом» рельсы прогибаются от тяжести.

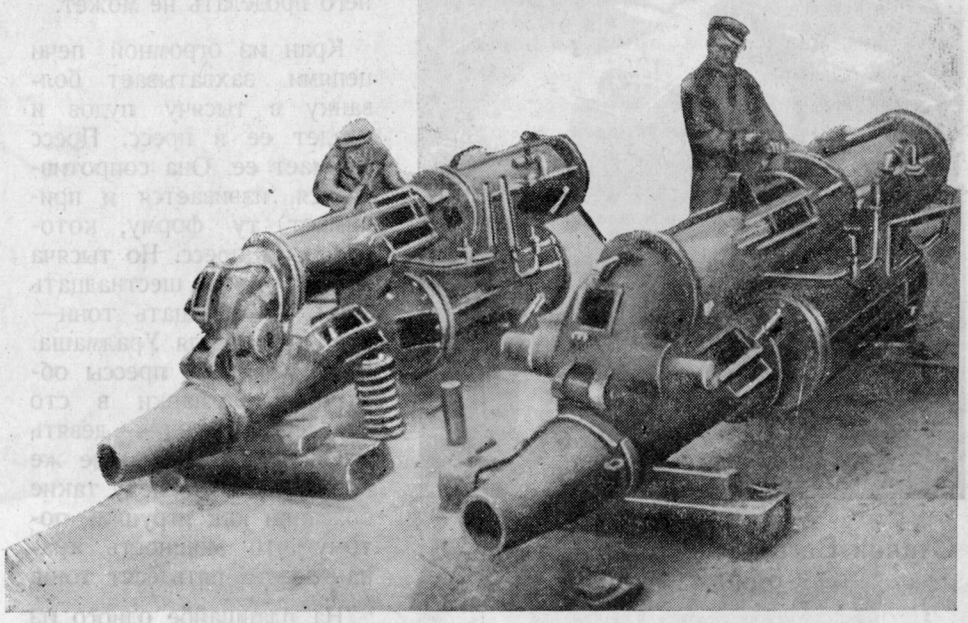
Уралмаш можно назвать отцом заводов. Сыновья его — металлургические заводы — делают металл, а из металла производят все — от блюмингов до граммофонных иголок и посуды.

Сам Уралмаш тоже мог бы делать граммофонные иголки. Ему ничего не стоит делать маленькие вещи, но он производит только заводы. Когда ему заказывают завод, он сдает его весь целиком—от доменной печи до последнего винтика.

Станки для Уралмаша мы выписывали из заграницы. Но стоит нам завести один—два таких гиганта, и мы уже совсем не будем зависеть от заграницы, потому что они произведут для нас все самые сложные станки и машины.

Поэтому Уралмаш для нас чуть ли не самый важный завод.

Когда он строился, начальник строительства Банников поехал в Америку заказать для него кое-какое оборудование и посоветоваться с американскими инженерами. Он приехал к инженеру Вильямсу в Мильвокки и рассказал ему о своих планах. Вильямс выслушал и сказал:



Пушки Брозиуса во дворе Уралмаша.

„Вы хотите вырыть нам могилу“

— Вы хотите в два—три года построить завод больше всех существующих в мире? Вы хотите затмить все звезды и еще просите у нас советов? Вы хотите, чтобы мы сами себе вырыли могилу?

Наши враги очень встревожились, когда мы начали строить Уралмаш. Они хотели совсем остановить или по крайней мере во что бы то ни стало задержать постройку. Делали они это очень ловко, пока не попались. Они ухитрялись из Парижа и из Берлина мешать уральской стройке.

Хренников и Банников

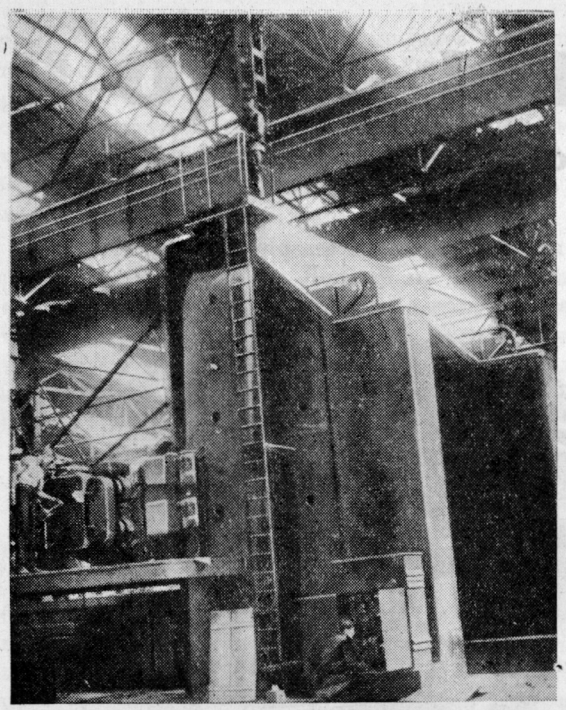
Вредителем на Уралмаше был инженер Хренников, большой специалист. Он сидел на «высоком» месте в Главметалле. К нему на рассмотрение приходили все проекты строительства Уралмаша. Когда он получал проект, он оставлял его надолго у себя, будто бы для проверки. На самом деле для того, чтобы задержать стройку. С его советами считались. Когда он говорил, что Уралмаш можно построить дешевле, заводу давали меньше денег. Дошло до того, что на стройке уже начали распродавать кирпич и цемент. Хренников не давал родиться отцу великанов.

Вредители выставили своим бойцом Хренникова. У нас на площадке Уралмаша был свой боец, Банников.

Хренников прекрасно видел, куда надо ударить, чтобы было больней. А сам он был в шапке-невидимке. Ведь сначала никто не предполагал, что враг, который мешает стройке,—это и есть Хренников. Но Банников, не видя лица противника, защищался на все четыре стороны. И пока Хренников в Москве задерживал проект, Банников под свою ответственность начал строить первый цех и протелеграфировал в Москву:

«Цех начат постройкой, никакие изменения больше невозможны».

Победил Банников. Но победа ему далась нелегко. Он тяжело заболел. Его мучили страшные головные боли. Но он работал не переставая. По вечерам он заходил в бараки, где жили рабочие, забирал гармонь у неопытного гармониста и распевал веселые песни. С Банниковым было весело жить и хорошо работать. Но ему не пришлось дожить до пуска Уралмаша. Он умер за год до пуска.



Станок Вагнера. Вся эта махина—один станок.

Точнее часовщика

А теперь отец великанов работает и своими стальными ручищами проделывает то, что никто кроме него проделать не может.

Кран из огромной печи цепями захватывает болванку в тысячу пудов и кладет ее в пресс. Пресс сжимает ее. Она сопротивляется, извивается и принимает ту форму, которую дает пресс. Но тысяча пудов — это шестнадцать тонн. Шестнадцать тонн— это пустяк для Уралмаша. Его громадные прессы обжимают болванки в сто пятьдесят тонн — девять тысяч пудов. Мостовые же краны носят по цеху такие болванки как игрушки, потому что мощность крана—двести пятьдесят тонн.

На планшайбе одного из станков, не из самых больших, а так, из средних, заседал весь президиум собрания рабочих механического цеха—пятьдесят шесть человек.

В этом же цехе стоит и станок Вагнера. Во всем мире таких станков только семь. Шесть братьев этого станка работают у капиталистов. Два работают в Америке, два обтачивают орудийные стволы на заводах Шкоды в Чехо-Словакии, один — у Круппа в Германии и один—у японцев.

Длина этого станка тридцать семь метров. Инструменты для него нельзя донести руками. Они слишком тяжелы. Их подают кранами. Станок свободно может зажать для обточки два паровоза и обточить их с точностью до микрона — одной тысячной сантиметра.

Огромная махина работает точнее часовщика.

Завоевание пушки

На этом заводе с помощью этих станков мы научились делать такие вещи, которые никогда в старой России не делались. Одна из этих вещей—знаменитая пушка Брозиуса для доменных печей.

В доменной печи из руды и кокса варится металл. Когда он сварен и стал жидким, его пора выливать. Как его выльешь? Домну не повалишь набок: она высока как многоэтажный дом. Черпать через верх тоже не будешь. Такие черпаки еще не выдуманы. Чтобы вылить чугун, пробивают внизу домны отверстие—летку. Летка большой домны похожа на кратер вулкана. Из нее несется бурная река расплавленного металла.

Но вот металл выпущен. Нужно снова пустить домну. Для этого летка заделывается огнеупорной глиной. На маленьких домнах это проделывали вручную, но даже там это было очень опасно. Когда сырая глина прикасалась к раскаленному металлу, от него как блестящие звезды отскакивали брызги. Эти брызги смертельно обжигали людей, а когда они попадали в глаза, — люди слепли.

Это было на маленьких домнах. На больших и думать нечего было забивать вручную. Тут работает леткозабивочная машина, которую по имени изобретателя прозвали пушкой Брозиуса.

Эта пушка стреляет по летке домны сырыми глиняными ядрами. Она в полминуты замуровывает самую большую, пышащую огнем и жидким металлом, летку.

Пушкой управляют на расстоянии. Нет никакой надобности подходить близко к летке. Умелый поворот рычага, и ядра, толкаемые сжатым воздухом, летят точно в намеченную цель.

Пушка может не только закрыть летку после выпуска металла, она перерезает своими ядрами любую струю жидкого чугуна. Она может в любую минуту остановить выпуск металла. Сырые глиняные ядра пушки побеждают расплавленный металл.

Но управлять пушкой не так-то просто. Это довольно сложная машина, и старые мастера с ней не справляются. В Магнитогорске старый мастер Усс предпочитал забивать летки вручную. Летка могла выскочить от напора металла не вовремя. Один раз так и случилось. Летка выскочила, и жидкий чугун, заливая все вокруг, полился из домны.

Взволнованные люди, не знающие механизма, метались вокруг пушки, дергали рычаги. Пушка колотилась о стенки домны, а чугун, выливаясь, расплавлял и сжигал все на своем пути. Он залил весь двор. Три тысячи тонн чугуна погибли. Домна остановилась на трое суток.

Мастер Усс обвинил во всем пушку. Над пушкой устроили общественный суд. И суд установил, что виновата не пушка, а люди, которые не постарались учиться обращению с ней. После суда магнитогорские доменщики научились с ней обращаться. Пушка Брозиуса больше промахов не давала.

У ней был один только недостаток: стоила она заграницей двенадцать тысяч золотых рублей. Из нее научились стрелять. Нужно было научиться ее делать.

Первым подарком отца великанов своим детям были тридцать пушек Брозиуса, выстроившиеся во дворе как для артиллерийского салюта.

А. П. ЧЕХОВ

РЕПЕТИТОР

РИС. А. ФОНВИЗИНА

Гимназист VII класса Егор Зиберов милостиво подает Пете Удодову руку. Петя, двенадцатилетний мальчуган, в сером костюмчике, пухлый и краснощекий, с маленьким лбом и щетинистыми волосами, расшаркивается и лезет в шкаф за тетрадками. Занятие начинается.

Согласно условию, заключенному с отцом Удодовым, Зиберов должен заниматься с Петей по два часа ежедневно, за что и получает шесть рублей в месяц. Готовит он его во II класс гимназии. (В прошлом году он готовил его в I класс, но Петя порезался).

— Ну-с...— начинает Зиберов, закуривая папиросу.— Вам задано четвертое склонение. Склоняйте fructus!

Петя начинает склонять.

— Опять вы не выучили! — говорит Зиберов, вставая.— В шестой раз задаю вам четвертое склонение, и вы ни в зуб толконуть! Когда же, наконец, вы начнете учить уроки?

— Опять не выучил? — послышался за дверями кашляющий голос, и в комнату входит петин папаша, отставной губернский секретарь Удодов.— Опять? Почему же ты не выучил? Ах, ты, свинья, свинья! Верите ли, Егор Алексеевич, ведь и вчерась порол!

И тяжело вздохнув, Удодов садится около сына и засматривает в истрепанного Кюнера. Зиберов начинает экзаменовать Петю при отце. Пусть глупый отец узнает, как глуп его сын! Гимназист входит в экзаменаторский азарт, ненавидит, презирает маленького, краснощекого тупицу, готов побить его. Ему даже досадно делается, когда мальчуган отвечает впопад,— так опротивел ему этот Петя!

— Вы даже второго склонения не знаете! Не знаете вы и первого! Вот вы как учитесь! Ну, скажите мне, как будет звательный падеж от meus filius?

— От meus filius? Meus filius будет... это будет...

Петя долго глядит в потолок, долго шевелит губами, но не дает ответа.

— А как будет дательный множественного от dea?

— Deabus, filiabus! — отчеканивает Петя.

Старик Удодов одобрительно кивает головой. Гимназист, не ожидавший удачного ответа, чувствует досаду.

— А еще какое существительное имеет в дательном abus? — спрашивает он.

Оказывается, что и anima — душа — имеет в дательном abus, чего нет в Кюнере.

— Звучный язык латинский! — замечает Удодов.— Алон... трон... бонус... антропос... Премудрость! И все ведь это нужно! — говорит он со вздохом.

«Мешает, скотина, заниматься...— думает Зиберов,— сидит над душой тут и надзирает. Терпеть не могу контроля!»

— Ну-с,— обращается он к Пете.— К следующему разу по латыни возьмете то же самое. Теперь по арифметике... Берите доску. Какая следующая задача?

Петя плюет на доску и стирает рукавом. Учитель берет задачник и диктует:

«Купец купил 138 арш. черного и синего сукна за 540 руб. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синее стоило 5 руб. за аршин, а черное 3 руб.?» Повторите задачу.

Петя повторяет задачу и тотчас же, ни слова не говоря, начинает делить 540 на 138.

— Для чего же это вы делите? Постойте! Впрочем, так... продолжайте. Остаток получается? Здесь не может быть остатка. Дайте-ка я разделю!

Зиберов делит, получается 3 с остатком и быстро стирает.

«Странно...— думает он, ероша волосы и краснея.— Как же она решается? Гм!.. Это задача на неопределенные уравнения, а вовсе не арифметическая».

Учитель глядит в ответы и видит: 75 и 63.

«Гм!.. Странно... Сложить 5 и 3, а потом делить 540 на 8? Так, что ли? Нет, не то».

— Решайте же! — говорит он Пете.

— Ну чего думаешь? Задача-то ведь пустяковая!— говорит Удодов Пете.— Экий ты дурак, братец! Решите уж вы ему, Егор Алексеевич.

Егор Алексеевич берет в руки грифель и начинает решать. Он заикается, краснеет, бледнеет.

— Эта задача, собственно говоря, алгебраическая,— говорит он.— Ее с иксом и игреком решить можно. Впрочем, можно и так решить. Я, вот, разделил... понимаете? Теперь вот надо вычесть... понимаете? Или, вот что... Решите мне эту задачу сами к завтрему... Подумайте...

Петя ехидно улыбается. Удодов тоже улыбается. Оба они понимают замешательство учителя. Ученик VII класса еще пуще конфузится, встает и начинает ходить из угла в угол.

— И без алгебры решить можно,— говорит Удодов, протягивая руку к счетам и вздыхая.— Вот извольте видеть...

Он щелкает на счетах и у него получается 75 и 63, что и нужно было.

— Вот-с... по-нашему, по-неученому.

Учителю становится нестерпимо жутко. С замиранием сердца поглядывает он на часы и видит, что до конца урока остается еще час с четвертью — целая вечность.

— Теперь диктант.

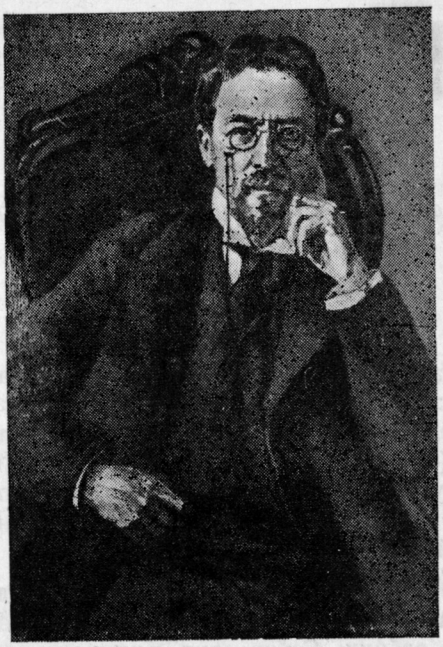
После диктанта — география, за географией — закон божий, потом русский язык, много на этом свете наук! Но вот, наконец, кончается двухчасовой урок. Зиберов берется за шапку, милостиво подает Пете руку и прощается с Удодовым.

— Не можете ли вы сегодня дать мне немного денег? — просит он робко.— Завтра мне нужно вносить плату за учение. Вы должны мне за шесть месяцев.

— Я? Ах, да, да...— бормочет Удодов, не глядя на Зиберова.— С удовольствием! Только у меня сейчас нету, а я вам через недельку... или через две.

Зиберов соглашается и, надев свои тяжелые, грязные калоши, идет на другой урок.

ЧЕХОВ



Очерк Б. Ш.

В ночь на 15 июля 1904 г. в Шварцвальде в маленьком городке Баденвейлере в одном из номеров «Hotel Sommer» (гостиница «Лето») умирал от чахотки Антон Павлович Чехов. Задыхаясь и сгорбясь, он сидел в постели, подпертый подушками. Рядом с ним сидела его жена. Она нетерпеливо посматривала на дверь, ожидая доктора. В номере был еще русский студент, знакомый Чеховых.

Вошел доктор Шверер.

— Смерть?—спросил его Чехов по-немецки.

— О, нет, нет! Успокойтесь! Что вы? — поторопился успокоить его Шверер, который искренне был убежден, что Чехов в таком состоянии может прожить еще несколько месяцев.

Чехов тяжело дышал, задыхался. Доктор Шверер попросил студента сходить за кислородом.

— Не надо,— сказал Чехов, который сам был врачом.—Пока принесут кислород, я уже умру.

Так и случилось. Через несколько минут он тихо сказал жене:

— Умираю.

Потом еще тише доктору по-немецки:

— Ich sterbe.

Склонился на бок и умер с таким спокойствием, которое удивило даже доктора Шверера.

Чехов умер 44 лет, имея за плечами 24 года напряженной писательской деятельности.

Он родился в Таганроге, на берегу Азовского моря, в 1860 г. Дед его был крепостным, а отец его сначала был красолом, потом служил старшим приказчиком в бакалейном магазине и, наконец, сам открыл колониальную лавку с винным погребком, в который заходили таганрогские рыбаки и обыватели выпить стакан сантуринского или рюмочку водки.

В этой лавчонке Чехов, будучи школьником, помогал отцу торговать и научился мастерски считать на счетах. Восьмилетним мальчиком он поступил в приготовительный класс таганрогской гимназии. Небольшого роста, плотный, большеголовый (за что и прозвали его ребята «бомбой»), с круглым пухлым лицом, он не был ни резв, ни шумлив, ни проказлив, всегда добродушно улыбался и учился сначала неважно, а потом хорошо. Иногда он притаскивал в школу смешные рассказы, списанные из книг в тетрадку, и читал их товарищам вслух. В классе поднимался хохот. Приходил воспитатель и отбирал тетрадь с забавным рассказом.

Чехов и сам тогда писал смешные рассказы, написал даже драму «Безотцовщина» и смешной водевиль «Не даром курица пела».

В 1879 г. он кончил гимназию. Отец его закрыл лавку, которая почти не приносила дохода, и с семьей переехал в Москву. В Москве он поступил на службу амбарным приказчиком, а сын его Антон—в Московский университет на медицинский факультет—учиться. Чеховы жили бедно. Отец на скудное жалованье не мог содержать большую семью, и студенту Чехову пришлось думать о заработке. 20-летний жизнерадостный юноша, остроумный шутник и выдумщик, он начал писать ради заработка смешные рассказы, подписывал их «Антоша Чехонте» и посылал в юмористические журналы «Стрекоза» и «Будильник». Журналы печатали (конечно, не все) и платили по три рубля за рассказ.

Через четыре года Чехов кончил университет, начал было врачевать больных и бросил, потому что литература интересовала его больше чем врачебная практика. Чехов описывал уродства и безобразия затхлой России: тупых обывателей, нечестных чиновников, забитых крестьян, интеллигентов, придавленных царским режимом, описывал весело. Все это сначала его только смешило. Он не доискивался, откуда эти уродства, откуда эти мрак и гнет. Он просто описывал все, что видел, потешая читателей. В революцию он не верил. Ему казалось в ту пору, что тупая, безграмотная Россия может измениться только через 200—300 лет. Критика сурово упрекала его за равнодушие к тому, что он описывает. Но чем больше он работал, чем больше всматривался, вдумывался в окружающую жизнь, равнодушие исчезало, в смехе слышалась грусть и в голосе нотки протеста.

Весной 1904 г., за год до революции 1905 г., писатель С. Елпатьевский встретил Чехова в Ялте и не узнал его: «Я никогда не видел его таким возбужденным, не то, что веселым, а радостным, и расспрашивал он не о литераторах и не о литературных новостях, которыми всегда больше всего интересовался, а о том, как и когда ждут падения старого строя. Для меня ясно и несомненно было одно, что Антон Павлович ждал новой, светлой и счастливой жизни не через 200—300 лет, а гораздо раньше, скоро и даже очень скоро, что он звал это будущее и был уверен, что вот завтра, послезавтра случится нечто, что сразу прогонит печаль и скуку русской жизни».

Чехову не суждено было дожить до этого светлого будущего. Он умер, оставив после себя несколько сотен блестящих рассказов, по которым учатся и еще долго будут учиться писать советские писатели.

Лагерь на Вокше

Повесть Г. Замчалова *(Продолжение)* *Рис. П. Кузьмичева*

IV

Половина одиннадцатого. Никаких гостей нет. В лагере только свои: ребята, солнце, вожатые и речка. Второй отряд ушел в лес за ветками для костра. Почти весь первый (кроме затейников) занят уборкой: подметают двор, украшают флажками и ветками помещения, вешают новый плакат, только что сочиненный и написанный:

«Здесь была генеральская дача. Отсюда он (забыли написать, кто? Наверно, генерал) *угнетал тысячи крестьян и делал их рабами. Сейчас тут юные ленинцы закаляют себя, чтобы помогать партии сделать всех свободными и счастливыми».*

Малыши из третьего отряда устроились на траве над речкой. У них санвикторина. Пионер-комсомолец Миша Садовников спрашивает:

— Для чего мы утром делаем зарядку? Кто скажет?

Востроглазая девочка, похожая в шароварах на волчок, вскакивает и подымает руку:

— Я!

— Ты уже говорила, хватит. Ну, кто скажет? Брыкин, ты ни разу не отвечал.

— Потому, что мускулы заспатые, — медленно тянет Брыкин.

— Эх, ты, заспатые! Сам заспатый!

— Ну, чего смеетесь? Он верно сказал, только мало. Ты об'ясни, как это—заспатые?

— Ну, как. Пока мы спим, то нам в печенки эти забираются насекомые вредные. Нет, не в печенки, а в легкие.

— Вот тебе на! Начал верно, а теперь напутал. Разве насекомые в легкие заползают?

— Я скажу!— вскакивает «Волчок».—Насекомые— это когда с грязными ногами на кровать и совсем не моются, от грязи заводятся в штанах и в руб...

— Постой, постой! Я же тебя не спрашиваю. Чего ты лезешь всегда вперед? Так только выскочки делают.

Брыкин морщит лоб, долго думает и вдруг широко, счастливо улыбается.

— Так они же заспатые, мускулы, да?

— Ну и что же?

— Ну, и кровь, значит, в них стоит. А как мы начнем руками, ногами швыряться, та кона и побежит.

— А дальше что?

Дальше Брыкин не знает. Миша спрашивает других. «Волчок» опять вскакивает, но сейчас же садится сама, без одергивания. Тогда встает тихая девочка, совсем еще новенькая пионерка. Она густо краснеет и робко шепчет:

— А дальше кровь промывает все органы: желудок, спину и мозг.

— Верно! Ты очень здорово знаешь. Только надо говорить громко, чтобы все слышали.

— Вот,—немножко громче говорит девочка.—Промывает. Еще она выгоняет вредный газ из легких...

Совсем на другой стороне, за третьим корпусом, шагах в десяти друг от дружки, занимаются две группы. Если подойти со стороны и послушать их, получится страшная неразбериха, вроде сумасшедшего дома.

«Мы, живгазетчики, веселою гурьбой
Споем вам первый номер свой...»

Тут кто-то горько, навзрыд плачет. Одна девочка заламывает руки и ругается:

— Антихристы! Живодеры! Последнюю скотину отдай им!

Услышав ее слова, мальчик и девочка нагло подбочениваются и в бойком плясе прохаживаются по кругу:

«Слушайте правдивый, честный сказ
Про лагерную жизнь, про всех про вас.
Если будет весело, хлопайте нам,
Если против шерсти, пойдите по домам...»

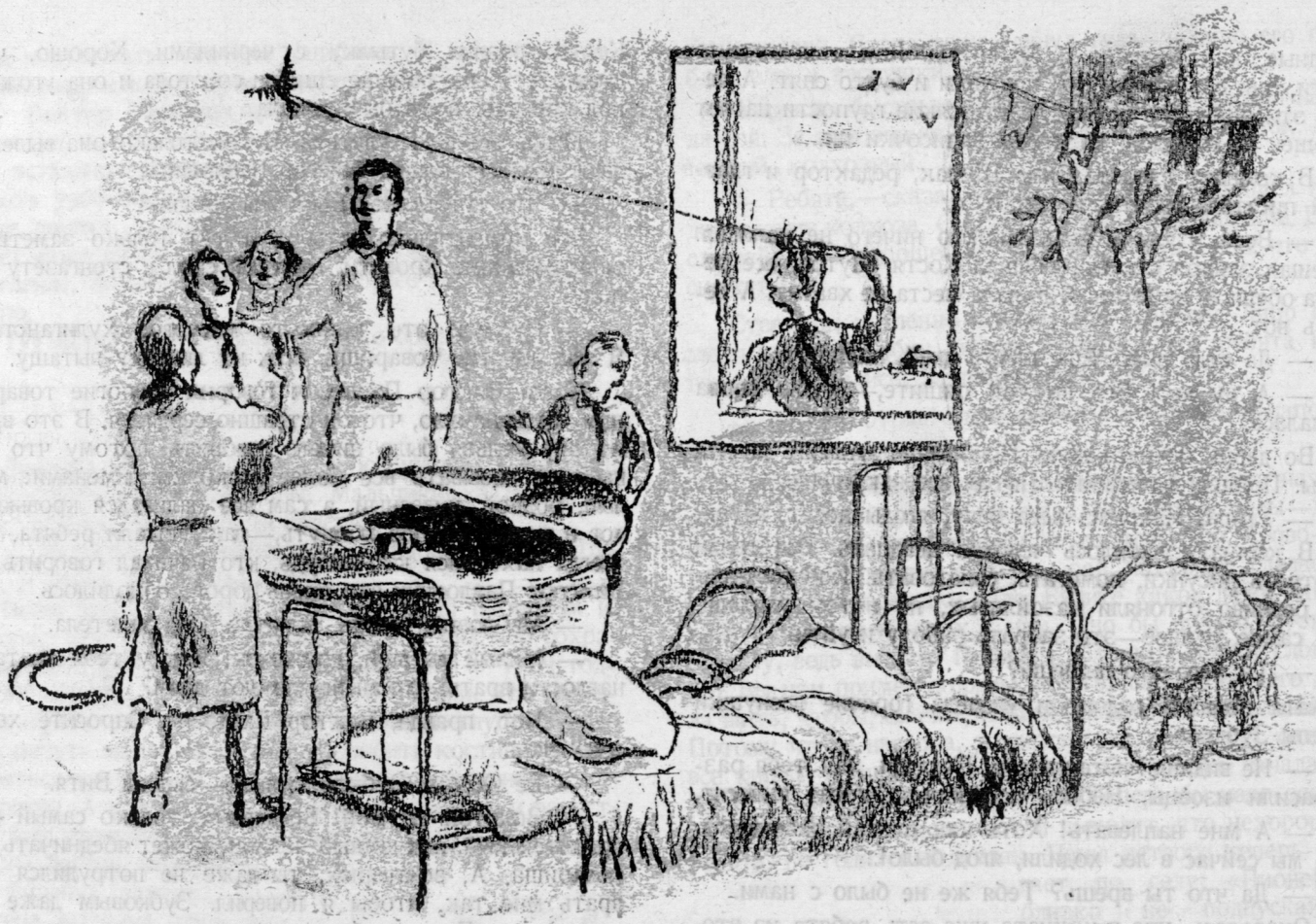
— Дура! Для нашей же пользы это, пойми ты. Они же не насильно. Не хочешь, не надо.

«Над рекой, над плотами
Тихо гасла заря.
По тропинке, как знамя,
Сам с собой говоря
И махая руками,
Нес Зубков воробья...»

Только присмотревшись внимательно, можно понять, что это не сумасшедший дом, а просто затейники и драмкружок. Занимаются они рядом, потому что у них один руководитель—Костя Шутов, лихой командир, ловкий плясун, артист и поэт. Оба кружка спешно готовятся к костру. Они разучивают сразу пьесу, живгазету, частушки, танцы и стихи. Весь материал, кроме пьесы, собственного сочинения. Частушки писали ребята, стихи—Костя, а танцы придумал Сережа-физкультурник.

Дело идет гладко. Только в драмкружке время от времени происходит заминка. Это бывает, когда подходит реплика Шуры Зубковой, степиной сестры. Она играет кулачиху. Роль легкая, говорить надо немного. А главное, не надо нарочно смеяться. Но каждый раз, как доходит до нее очередь, получается скандал. Она нагибает голову и молчит как бочка с водой. Все начинают уговаривать ее:

— Шура, тут ничего не надо делать. Ты только скажи: «Сроду этого не было и не будет. Бог не потерпит этого. Он огнем спалит ваши избы, градом побьет ваш хлеб и голодом уморит вашу скотину». Знаешь: как будто ты рассердилась очень. Они ведь не любят колхозов, кулаки. Ты просто, своими словами, как всегда говоришь.



Он вынул черную китайскую птичку-дрожалку и подбросил ее над головами ребят.

Шура долго не может ничего из себя выдавить. Потом неожиданно прорывается и говорит свои слова тяжелым гробовым голосом. Получается очень хорошо, как раз так, как надо. А она не верит, думает, что плохо. И в следующий раз молчит еще упорнее.

В самой середине пьесы ей надо было сказать всего четыре слова: «Тьфу, будьте вы прокляты!»—и уйти. Вот тут-то у нее и заколодило. Минут двадцать уговаривали. Подруги что-то шептали ей на ухо, ребята кричали, что она дурака валяет, Костя старался все обратить в шутку:

— Постойте, не лезьте вы к ней. Сейчас она скажет. Это же только шутка. Что вы думаете, такая большая девочка не сможет сказать четырех слов, да?

Шура нагибала голову все ниже и ниже. Вдруг выпрямилась и шумно набрала воздуху. Все облегченно вздохнули: наконец-то собралась. Но тут получилось совсем неожиданное, может быть и для самой Шуры Она закрыла лицо руками и кинулась бежать, спотыкаясь как слепая.

— Шура! Шура! Куда ты? Постой же!

Тут даже Костя не удержался и назвал ее «дылдой упрямой».

— Пускай бежит, наплевать. Настя, давай ты за нее. К завтрему выучишь роль, а сейчас пока так, по тетрадке.

V

В комнате вожатых верх и низ—как небо и земля в апреле. Вверху флажки, ветки, портреты вождей по стенам, диаграммы всякие. А внизу грязь, обрезки бумаги, очистки карандашей, бутылки с клеем, чернила.

На круглом столе лежит огромный лист бумаги, разделенный на клетки. Один край его зарисован хлебным полем, уже скошенным. За крестцами прячутся маленькие фигурки с красными галстуками. Издали на них наступают фигурки еще меньше, с синими повязками на руках. Похоже на бой или на военную игру. Все поле перерезано зелеными деревцами-буквами «Мы готовы».

Это стенгазета к антивоенному дню. Клетки внизу еще белые: газета только начинает делаться. Кроме заголовка на белом листе выделяются три фотографии с надписью «Наши ударники, лучшие из лучших» и с фамилиями под каждой.

Четверо изокружковцев на кроватях, на шкафу и прямо на полу возятся с рисунками и карикатурами. А над листом пока склонилась Катя Самарина, председатель совета лагеря. Она старательно выводит первую и единственную пока заметку:

« У нас в первой палате девочки самые большие и претендуют, считая себя сознательней всех. Но если бы к нам заглянули утром до горна или в мертвый час, так они бы не то сказали. Сознательные шушукаются, хохочут, мешают другим спать. Которые возьмутся танцовать и вертеться по палате либо вынут книжки и давай читать. А книжки те мещанские и насквозь

вредные, как Чарская и Майн-Рид. Как только чуть шаги, они все прячут под подушки и будто спят. А через эти книжки в голову лезут всякие глупости насчет брошек да нарядов, да чтобы записочки пи...»

В комнату влетела Сима Щупак, редактор и главный писатель газеты, и крикнула:

— Вот! Я так и знала: никто ничего не написал. Обещал завхоз статью, обещал Костя Шутов, все ребята обещали заметки. Я думала места не хватит. А теперь вот...

— Да ведь рано. Еще шесть дней, напишут.

— А ну вас! Все вы так пишите,—и она снова умчалась.

Во дворе начался шум. Прибежали малыши из-под горы. Пришли затейники. Потом все закричали:

— Ур-ра! Наши из леса идут, ягоды несут, веток.

В комнату набилось человек двадцать. Все лезли смотреть рисунки, помогать, советовать. Изокружковцы ревниво отгоняли назойливых, но потом увидели, что самое лучшее—это забрать работу и уйти.

— Ты чего это пишешь?

Катя подняла голову и увидела горячие веснушки Степы Зубкова.

— Не видишь? Стенгазета. Погляди, как тебя разукрасили изовцы. Небось поежишься, когда вывесят.

— А мне наплевать! Хоть как пускай разрисуют. Эх, мы сейчас в лес ходили, ягод было!..

— Да что ты врешь? Тебя же не было с нами.

Оказалось, что в комнате уже есть ребята из второго отряда.

— Вы уже пришли?—деланно обрадовался Степа.— Вот хорошо! А мы вас искали-искали, весь лес обошли—нигде нет. Давеча, когда вы уходили, мы только забежали коробочку от пуль поискать, на стрельбище. Вышли, а вас уже нет.

— Как же нет, когда мы вас кричали по всему лагерю?

— Кричали? Вот так раз! И мы вас кричали. Как это мы не слышали друг дружку?

Катя отвела Степу в угол и серьезно сказала:

— Степа, неужели тебе не стыдно? Хулиганишь все время, куда-то убегаешь. Теперь Федю Савенкова втянул. Он был какой умный зимой, а теперь... Какой ты пионер после этого?

Степа нагнул голову как давеча Шура и долго молчал. Потом сказал тихо и тоже очень серьезно:

— Катя, я больше никогда не буду, вот увидишь. Я буду самый послушный, самый...

— Знаю, ты сто раз уже обещал всем.

— Нет, правда, Катя. Все удивятся даже. И ты сама первая... Катя, я малины тебе принес, хочешь?

Он протянул зажатую в руке камилавку. Катя удивилась и размякла. Лицо у него было такое хорошее, честное, что отказаться от угощения было нельзя. Она полезла за ягодами и вдруг отчаянно взвизгнула, шарахнулась в сторону, ударилась о стол. Из камилавки выпорхнуло что-то черное и страшное. Оно сперва уселось Кате на голову, потом взмахнуло голыми крыльями и заметалось по комнате.

— Мышь! Летучая мышь! Лови ее, не пускай в окно!

Девочки подняли крик и гурьбой кинулись к двери. Мальчики с хохотом носились за мышью. В охотничьем азарте они прыгали на кровати, на стол, на шкаф. Кто-то разлил бутылку с чернилами. Хорошо, что стенгазету еще раньше сшибли со стола и она угодила под кровать. А то бы пропала.

Мышь все-таки улетела. И как только она вылетела, в комнату вошел Виктор Павлович:

— Что тут такое? Вы с ума сошли?!

Все моментально остыли. И тут только заметили развороченные кровати, залитый стол и стенгазету на полу.

— Ну, уж это какое-то массовое хулиганство! Я вас, дорогие товарищи, всех на линейку вытащу.

Когда Виктор Павлович говорил «дорогие товарищи», это значило, что он страшно сердится. В это время ему нельзя было ничего говорить, потому что он начинал называть все более ласковыми именами: милый, родной, чудесный, а сам все наливался кровью и мог в конце концов лопнуть,—так считали ребята. Но всегда находился кто-нибудь, кто начинал говорить, и Виктору Павловичу это очень дорого обходилось.

— Мы ловили мышь, летучую. Она залетела.

— Милый ты мой, дружочек! Как у тебя хватает наглости врать, что мыши летают днем?

— Нет, правда, Виктор Павлович. Спросите хоть девочек.

— Ее Степка Зубков принес,—сказал Витя.

— Золотой ты мой! Во-первых, только самый отвратительный, никчемный человек может ябедничать на товарища. А, во-вторых, ты даже не потрудился соврать мне так, чтобы я поверил. Зубковым даже не пахнет тут. При нем бы ты струсил сказать это.

Все оглянулись: верно, главного виновника-то и нет. Никто не мог сказать, когда и как он удрал. В это время он вдруг показался из-под горы. Заложив руки за спину и насвистывая какую-то песенку, он подошел к окну:

— Что это у вас? Собрание что-ли какое? Эх, а кровати-то, кровати! И чернила разлили. Вот это да!

Это было уж чересчур. Тут даже приятели степины не выдержали:

— Врет он, врет! Сейчас только был тут. Виктор Павлович, вы не слушайте его, это он преставляется. Хитрый тоже! Сам все начал, а теперь будто не при чем.

— Зубков!—Виктор Павлович нахмурился, но не сказал «родной» или «славный».—А ну-ка, скажи мне честно: был ты тут недавно?

— Конечно, был. Зашел и ушел. А сейчас меня Борька-фотограф снимал под горкой. Позвать его?

— Нет, не надо, Степа... А где ты мышь взял?

— Какую мышь? Что вы, я никакой мыши не видел.

Он сделал страшно удивленное лицо, но вдруг искренне засмеялся:

— А-а, теперь знаю, про что они. Вот, смотрите.

Он вынул черную китайскую птичку-дрожалку и подбросил ее над головами ребят. Дрожалка была привязана на тоненькой резинке. Пролетев полкомнаты, она сейчас же вернулась к нему обратно, все время подрагивая крыльями.

— Видели, Виктор Павлович? А они, наверно, подумали, что это летучая мышь.

Ребята остолбенели. Одни потянулись рассматривать дрожалку, другие, выпучив глаза, смотрели на Степу, ничего не понимая, третьи, видно, в самом деле на-

чали подумывать, что они ошиблись. И неловко отворачивались, как будто им неинтересно.

Виктор Павлович просветлел. Все знали, что он несмотря на степино озорство любит Степу так же как остальных ребят, может быть, даже больше. Он при всяком удобном случае говорил, что Степа ничем не хуже других, а если правильно к нему подойти, так будет даже лучше. Поэтому у ребят, заметивших просветление, появилась надежда, что все сойдет благополучно.

Тут кстати раздался горн, и все бросились во двор.

VI

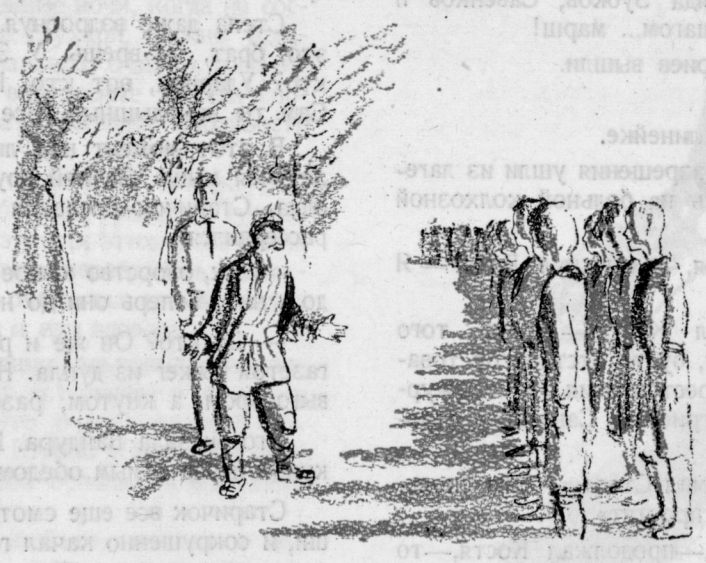
Линейка вытянулась в неровную букву «С». Девочки наспех заправляли шаровары. Мальчики хватались за шеи: тут ли, не забыли ли галстуков.

— Напр-р-аво равняйсь!—скомандовал Костя Шутов, и буква «С» выравнялась.

Всего три года назад Костя сам был пионером и, говорят, неважным. В девятой палате до сих пор сохранилась его резьба на стене: «Здесь спал в 1929 году Костя Шутов». Кроме того как-то узнали, что начлагеря назвал его жеребенком и вообще неглубоким. Но это ничуть не мешало ребятам любить костины стихи, смеяться его шуткам, удивляться его всестороннему мастерству. А его команда, резкая как тревога и радостная как утренний горн, выполнялась мгновенно.

— Лагерь, смирр-но!

Линейка замерла. Даже Степа вытянул свой веснушчатый нос вперед, а руки по швам. Он старался еще делать строгое лицо, но это было выше его сил: очень уж счастливый день выпал сегодня. И там, в колхозе, так ловко вышло, и тут, с мышью. А кроме того как раз напротив стояла Катя Самарина, готовая принимать рапорты вожатых. Ну, как тут было не улыбнуться и не подмигнуть ей: «А-га, что, начальница, поела малинки?»



—Так вы, ребята, не обижайтесь на меня.

Начались рапорты: «Умывались все, зубы чистили все, на линейке присутствуют все. Едой довольны...» Степа как всегда не слушал их. Но вот вожатый первого отряда брякнул:

— Едой довольны, только, говорят, маловато и не очень вкусно. На линейке присутствуют все... Нет, одной нет—Шуры Зубковой.

— Почему нет?—спрашивает Катя.

— Н-не знаю.

— Как же ты можешь не знать, что делается у тебя в отряде?

Вожатый молчит.

— Рапорт отставить!—строго командует Катя. Вожатый убито возвращается на место.

Дальше кто-нибудь из старших вожатых должен был поговорить о падении дисциплины. Потом Костя скомандовал бы: «В столовую на обед шагом». Но Костя чего-то ждал. Он переминался с ноги на ногу, поглядывая направо. Степа тоже глянул туда—и лицо его побледнело, а веснушки выступили еще ярче.

Широким быстрым шагом к линейке подходил начлагеря. За ним вприпрыжку поспевал тот старичок, давешний, колхозный.

— Ребята,—сказал начлагеря.—К нам пришел вот дедушка из колхоза. Он сделает важное сообщение. Выслушайте его хорошенько и подумайте над тем, что он скажет.

Старичок медленно оглядел всю линейку. Лицо его сложилось в улыбку, такую веселую, что ребята все тоже заулыбались, зашушукались.

— Второй отряд! Была команда «смирно!»—напомнил Костя.

— Эх, и говорить-то была неохота! — так начал старик.—Больно уж вы молодцы. Вон какие орлы—душа радуется. С эдакими мы не то что... Фу, слово-то трудное. Ну, просто сказать, рай на земле сделаем. Ну, а сказать все-таки надо. Видите какое дело: ваши ребята залезли в горох к нам. Оно бы ничего, пустое это. Ну, ведь вы кто? Пионеры! Слышите, какое слово-то? Вы нам пример должны подать, как для общего дела жить, чтобы, значит, никакой жадности самоличной. Потому что в нас она, жадность эта, тыщи лет сидит, все кишки проросла. Теперь и вовсе уборка началась. Мало ли лихих людей найдется? Теперь бы надо особо строго. А вы—натека... Вот и выходит, что нехорошо, ребята, не годится вам эдак. Наша детвора теперь бегает по селу: «Пионеров близко не подпускайте. Они...»

— Да ведь они же не узнали ничего! — удивился Федя.

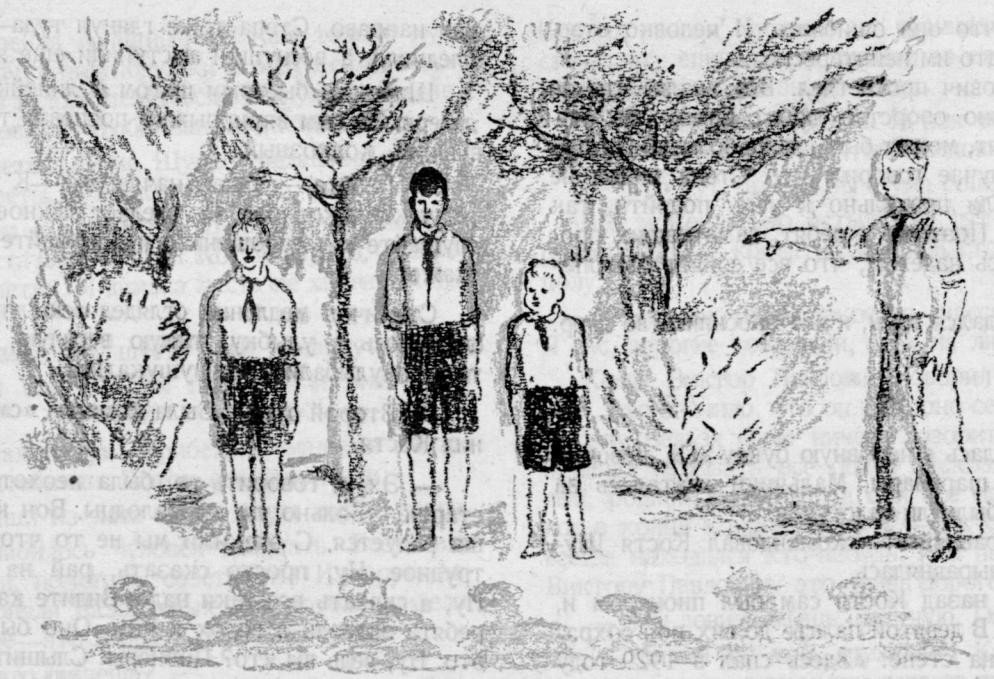
— Ах, ты, глупок, глупок! — старик даже руками всплеснул. — Я нарочно не говорил, кто из вас лазил. А ты сам себя и выдал. Ну, да ладно, теперь уже ничего не сделаешь. Так вы, ребята, не обижайтесь на меня. Я ведь не то, чтобы с жалобой, а, так сказать, по дружбе.

И он отошел, все так же ласково улыбаясь.

— Ребята!—сказал начлагеря. — Мне нечего об'яснять, какой это позор для всего нашего лагеря. Вы сами это понимаете. Но кроме этого сегодня мы имеем еще «достижение». Одна пионерка самовольно ушла с кружка. Сейчас она не изволила явиться на линейку. Человек пятнадцать зашли в комнату вожатых и перевернули там все вверх дном. Вы назвали свой лагерь именем Ворошилова. Как вы думаете: если бы товарищ Ворошилов сегодня приехал сюда, он бы остался очень доволен вами?

Стало так тихо, что слышно было, как под горой всплеснула рыба в реке.

— Надо немедленно принять меры, чтобы такие явления у нас больше не повторялись. Во-вторых, надо показать колхозным ребятам, что красные галстуки на вас не так, просто болтаются как тряпки, а что вы имеете на них право. После чая будет совет лагеря. Там вы все это обсудите, а сейчас...



Они повернулись лицом к линейке.

Он шепнул что-то Косте, и тот грозно отчеканил:

— Пионеры второго отряда Зубков, Савенков и Дмитриев, три шага вперед, шагом... марш!

Зубков, Савенков и Дмитриев вышли.

— Кр-ру-гом!

Они повернулись лицом к линейке.

— Вот эти молодцы без разрешения ушли из лагеря, залезли в горох, катались на больной колхозной лошади...

— Да я вовсе не катался, — хмыкнул Витя. — Я только бежал...

— Разговорчики! — рявкнул Костя.— Кроме того они наврали своему вожатому, будто отстали от товарищей нечаянно. За все эти преступления я как дежурный по лагерю об'являю Дмитриеву и Савенкову строгий выговор.

«А, может, ничего, — подумал Степа. — Это сколько хочешь бывает: возьмут и простят».

— Что касается Зубкова,—продолжал Костя,—то он за эти дни много раз нарушал лагерную дисциплину. У него уже есть два выговора, из них один с предупреждением. Он не работает в кружках и вообще показал себя никудышным пионером. Поэтому вопрос о нем я переношу на совет лагеря. С своей стороны предлагаю: такого пионера из наших рядов исключить!

Степа даже вздрогнул... «Как это исключить! Ну, это, брат, ты врешь. У Зубкова, брат, отец, знаешь, кто? Ударник, вот кто. Попробуй-ка тронь Зубкова. Сам ты никудышный. Все стены исписал, а теперь...»

В этот момент над линейкой пронеслась большая летучая мышь. За ней другая, потом сразу две и еще одна. Старичок последил за их неровным полетом и рассердился:

— Ах, озорство какое! Разорил видно кто-то гнездо у них. Теперь они до ночи будут метаться.

— Да кто? Он же и разорил, рыжий этот. Давеча газетой выжег из дупла. Нет, его учить-то бы надо не выговором, а кнутом, разбойника эдакого.

Это сказала Бандура. Как она ухитрилась уйти из кухни перед самым обедом, неизвестно.

Старичок все еще смотрел туда, куда скрылись мыши, и сокрушенно качал головой:

— А-я-яй, нехорошо как. Они твари тихие, кому они помешать могут? Может, у них дети были. Озоровать тоже с головой надо, а то можно такого натворить, что и сам пожалеешь.

(*Продолжение следует*).

Удивительные звери

ЛЕТЯГА, ЛЕНИВЕЦ, КАЛАН И СИРЕНА

О четырех удивительных зверях рассказывает Ольга Васильевна Перовская. Она хорошо знает жизнь зверей. Недавно вышла написанная ею и Г. Замчаловым книга „Остров зверей"; мы о ней расскажем в одном из ближайших номеров. Если рассказы об удивительных зверях вам понравятся,—напишите. Напишите, о каких зверях вы хотите прочитать в журнале.

летяга

На севере Московской области, в Горьковском крае, в брянских лесах в глухие весенние ночи, когда на соснах куражатся расфранченные глухари, можно услышать негромкий лай вроде собачьего: о-во-во, о-во-во.

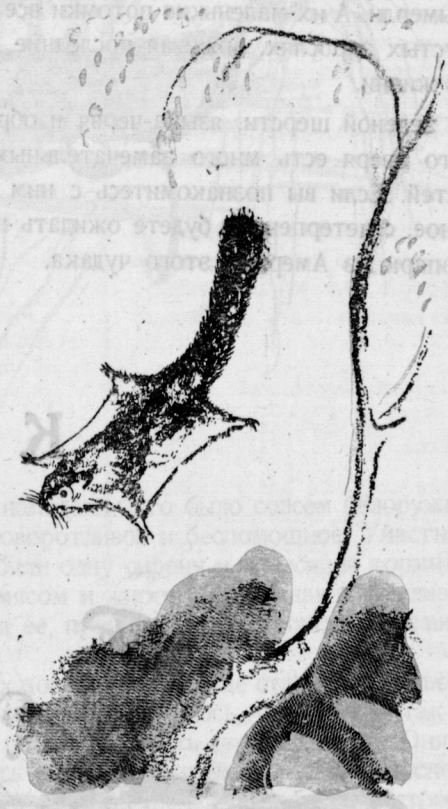
Странно: лает собачка, а все лесные жители спокойны. Стало быть, человека — хозяина поблизости нет.

Это невидный, неважный, нехрабрый зверек. Это белка-летяга. Когда-то она обитала только в густых тропических лесах. В нижних этажах этих лесов очень темно, голодно и страшно. Летяга перебралась в верхние да так и осталась там: уж очень там веселое, шумное общество. А главное света и еды вдоволь.

Спит она в дупле. Запасы пищи (ольховые и березовые сережки, всякие семена и т. п.) прячет в кладовых или развешивает на ветках. Это очень красивый маленький зверек, меньше белки. Шубка у него дымчато-серая, мордочка круглая, а глаза большие и выпуклые как у всех ночных зверей.

Но самое замечательное в ней то, что она в любую минуту может превратить себя в планер. Да, да, в такой же планер, на котором наши летчики парят часами.

Однажды в сумерки охотник срубил дерево. Оказывается, на нем сидела летяга. Она растопырила все четыре лапы. Между ними натянулась ровная как змей кожа. На глазах у охотника зверек скользнул вниз,



пронесся метров 60 и, плавно поднявшись вверх, сел на другое дерево.

Всю эту ночь летяга тряслась и пищала от страха.

ленивец

Вот уж никак не назовешь их передовыми, сознательными зверями. Во всем они отстают, все у них не по-зверски. За много столетий своего существования не приобрели они себе надежного оружия (зубов, когтей, рогов) для борьбы за свое жилище и пропитание. Зато и вытеснили их другие звери с земли. Совсем прогнали, так что они теперь живут только на деревьях.

Живут вяло, лениво. Целыми днями спят, прицепившись крепкими лапами к ветвям. Ведь уж, кажется, как неудобно: вечно вверх ногами. А им хоть бы что. Блаженствуют как мухи на потолке.

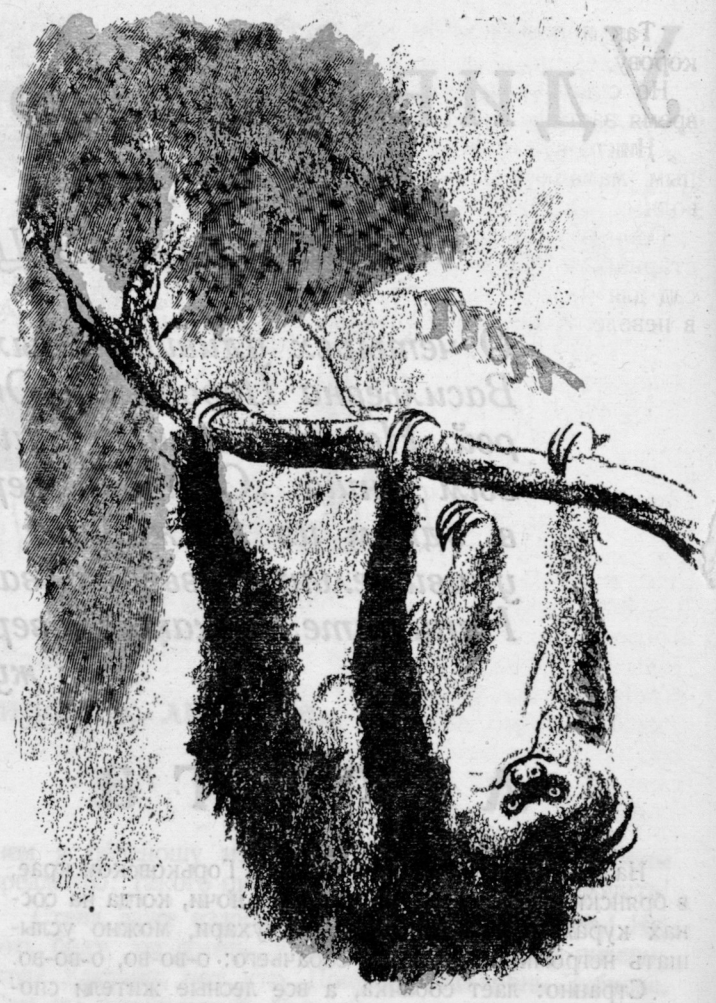
От такого несуразного житья у них и шерсть не как у всех добрых зверей. У всех она растет от спины к брюху, а у ленивцев наоборот: снизу вверх, к спине. Да и самая шерсть-то особенная, зеленая. Это потому, что она вся заросла таким мелким растением, ольгой. Впрочем, ленивцу это наруку: днем его, спящего, в зеленой листве никто не потревожит.

Этот житель Южной Америки, пожалуй, самый некрасивый из всех млекопитающих. Большая пучеглазая и курносая голова. Длинные космы на лбу расчесаны пробором. Изо рта высовывается длинный как червь язык. Он заменяет руку. Зачем двигаться самому, когда можно языком притянуть почку или плод с дерева?

Убить ленивца трудно, так как он страшно живуч. В него можно всадить целый заряд дроби, и он не пошевельнется. Один ученый сказал, что ленивец почти так же нечувствителен к ударам как труп. Это свойство—одно из его нехитрых защитных приспособлений.

Когда-то в древние времена в лесах Южной Америки жили огромные чудовища—м е г а т е р и и. Это те же ленивцы, только раз в сто больше размером. Теперь они все вымерли. А их маленькие потомки все еще прячутся в густых зарослях, доживая последние десятилетия своей жизни.

Кроме зеленой шерсти, языка-червя и образа жизни у этого зверя есть много замечательных, редких особенностей. Если вы познакомитесь с ним поближе, вы, наверное, с нетерпением будете ожидать приезда к нам в Зоопарк из Америки этого чудака.



к а л а н

У одного из Командорских островов плавал в море мелкий зверь.

Он был полтора метра длиною. Седина его волос сливалась с пенистыми волнами.

Зверь был здоров и весел. Он беззаботно лежал на спине и нечасто похлопывал хвостиком по воде. На животе у него сидел его маленький. Иногда детеныш передвигался на грудь матери и тыкал мордочкой в ее пушистый подбородок.

В ответ матка тискала, подкидывала вверх и поймав крепко прижимала лапами к себе.

Этого зверя алеуты раньше считали человеком, которому злые боги не позволяли за что-то проживать на земле. А это вовсе не человек, а просто морской бобер—калан. На воде он и спит, и играет, и ест. Проголодается, возьмет маленького в зубы, нырнет и вытащит со дна морского ежа или краба. А плавает он лучше всех: и лежа, и стоя, и как только угодно.

Нашу каланиху долго выслеживал промышленник с луком и стрелами. Но стрелять ее на воде он не хотел. Можно ведь и не выудить шкурки из моря.

Он однажды ее перенял на земле. Зверь улепетывал тяжелыми прыжками, лапы его, похожие на лапы тюленя, шлепали по леску.

Человек стал между зверем и морем. Калан выгнул спину, зашипел, заплевался.

Круглая морда его позверела. В глазах зажглись огоньки.

От удара дубинкой он свалился на землю, заслонил глаза лапами.

Малый без матери тоже недолго промыкался.

Так погибли на острове Медном две самочки сразу.

Шкурка калана стоит 4 тыс. руб. Люди целые века истребляли каланов. Затаивались в скалах, подкрадывались на лодках-байдарках, застигали с дубинками на лежках, среди волн и утесов.

Каланов становилось все меньше и меньше. Наконец, их осталось всего несколько штук.

Так и повыбили бы их всех, как выбили морскую корову.

Но с каланами дело обернулось иначе. За них вовремя заступилось правительство.

Никто не смеет сейчас мешать седоусым круглолицым мамашам убаюкивать каланят среди байковых волн.

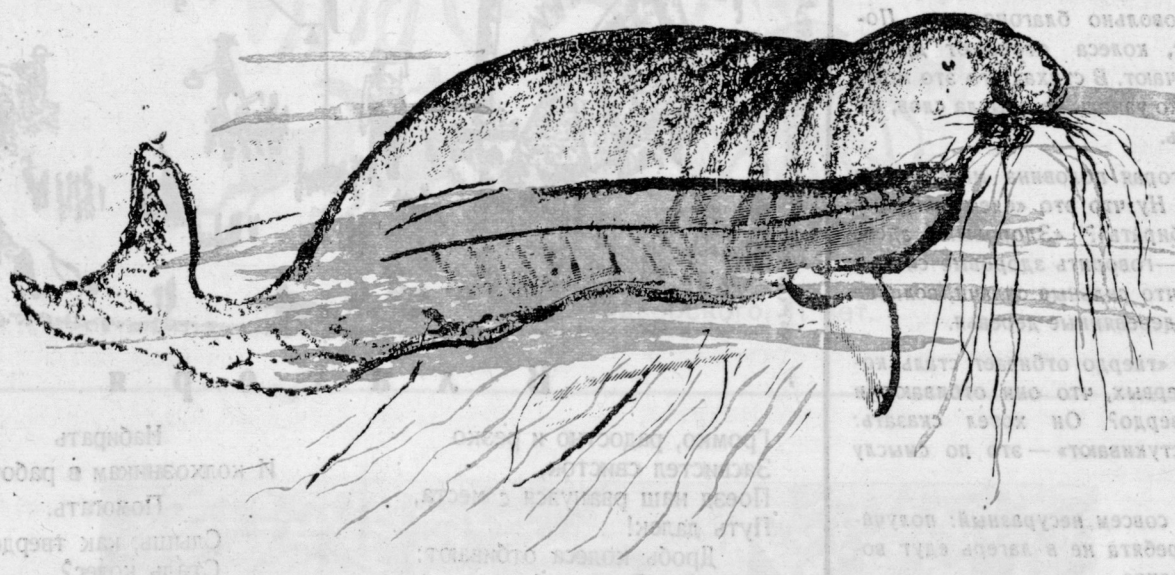
Один раз только их потревожили. Попросили у них старших детей, полуторагодовалых бобриков, в детский сад для каланов. Там они вырастают и размножаются в неволе. А на свободе их ходит уже несколько сотен.

Неугомонные люди хлопочут о том, чтобы всячески расширить жилплощадь для драгоценного, редкого зверя.

Говорят, недурная квартира приготовлена им на Кольском полуострове.

Как же вынесут наши каланы этот длительный путь? Не волнуйтесь, ребята. Это дело пустое. Главное—это столовая. Надо придумать им блюдо взамен морских ежей и капусты, которыми они питались с самого детства. А о том, как они полетят через весь СССР на аэроплане, я вам расскажу обязательно.

сирена



В старинных легендах часто рассказывается, как навстречу отважным морякам выплывали с песнями из морской пучины прекрасные девы-сирены. Своей неземной красотой они так зачаровывали моряков, что те, бедные, заглядевшись, разбивали свои корабли о скалы и погибали.

Теперь ученые хорошо знают сирен. Они выделили этих красавиц в особый отряд млекопитающих—морских жвачных, родственных нашим коровам.

Одна из сирен жила всего сто лет назад у нас, в Беринговом море. О том, чтобы она была прекрасна или слишком певуча, ничего неизвестно. Наоборот, один ученый — доктор Стеллер — говорит, что она была очень скромная и тихая особа «4 саженей в длину и в области пупка 3½ саженей в толщину», а весом свыше 1000 пудов.

Стеллер первый изучил и определил этих животных. Их назвали *стеллеровыми коровами*. Они паслись среди морских водорослей у берегов. Люди, которых они увидели впервые, были члены экспедиции Беринга: Стеллер и другие. При виде их коровы высовывались наполовину из воды и не то мычали, не то стонали. Они не убегали, но и не нападали. Это было совсем безоружное животное, неповоротливое и беспомощное. Участники экспедиции убили одну сирену и 8 месяцев кормились ее чудесным мясом и жиром, напоминающим сливочное масло. Кожа ее, прочнее бычьей, пошла на ремни и всякие поделки.

С тех пор люди все чаще стали появляться у берегов Камчатки. Им понравилось, что можно так легко, без всякого риска, добывать столько добра. Они жадно набросились на беззащитных коров и в несколько десятилетий истребили их всех до одной. Истребили, а потом спохватились: что же мы сделали? Ведь можно было гораздо умнее использовать это громадное и тихое животное. Можно было огородить приобретенное пастбище и приручить это животное, сделать домашним как обыкновенную корову. Вы подумайте: единственное в мире домашнее животное, для которого не нужно ни сарая, ни выгона—ничего. Плавают в воде телятки по 500—1000 пудов весом, родятся новые...

Но было уже поздно: в 1854 г. погибла последняя корова. Так нелепо кончил свое существование интересный вид млекопитающих.

Стихи о лагерях

Заметки редактора

Почта принесла первые стихи о лагерях.

Они напечатаны на этой странице. Это не худшие из присланных, хотя недостатков в них много.

Они схожи между собой, эти стихи. Оба очень бодрые. Под них можно ходить почти как под марш. Это хорошо. Авторы, очевидно, ребята веселые и, должно быть, любят ходить под музыку.

Первая половина стихотворения Волкова довольно благополучна. Поезд стучит, колеса отбивают дробь, стыки отвечают. В стихах его это можно не только узнать из смысла слов, но и услышать.

А вот вторая половина много хуже и скучней. Ну что это «едем сил здоровых набирать»? «Здоровых» здесь ни к чему,—говорить здоровые силы— все равно что сильные силачи, великие великаны, деревянные деревья.

Дальше: «твердо отбивает сталь колес». Во-первых, что они отбивают и почему твердо? Он хотел сказать: «четко отстукивают» — это по смыслу верней.

А конец совсем несуразный: получается, что ребята не в лагерь едут вовсе, а в колхоз.

У Смирнова «каждый раз уезжает в лагерь пионеротряд». Пионерам весело каждый раз, к о г д а уезжает в лагерь отряд. Пропущено одно слово, а получается бессмыслица.

Когда барабанщик бьет в барабан, отряд никогда не распевает.

«Выстраивается в ряд
«Буденновец» отряд...»

Если отряд называется им. Буденного, то в крайнем случае можно было бы сказать: «Буденновцев» отряд.

У Смирнова:

«Успев тучу брызг поднять...»

Здесь «успѣв» читается как «успев»— это неправильно.

В конце Смирнов немного заврался. Как же это эхо повторяет не только смех и шутки (никогда не слыхал, чтобы эхо шутку могло повторить), не только плеск (?), но и борьбу. Это уже не эхо, а какое-то говорящее кино.

Привет, ребята, пишите.

Б. Ивантер

В лагеря

Громко, радостно и резко
Засвистел свисток,
Поезд наш рванулся с места,
Путь далек!
Дробь колеса отбивают:
«В лагеря!»
Стыки дружно отвечают:
«На поля!»
Едем в лагерь сил здоровых
Набирать
И колхозникам в работе
Помогать.
Слышь, как твердо отбивает
Сталь колес?
Вот и мы так зашагаем
В свой колхоз.

Деткор *М. Волков*

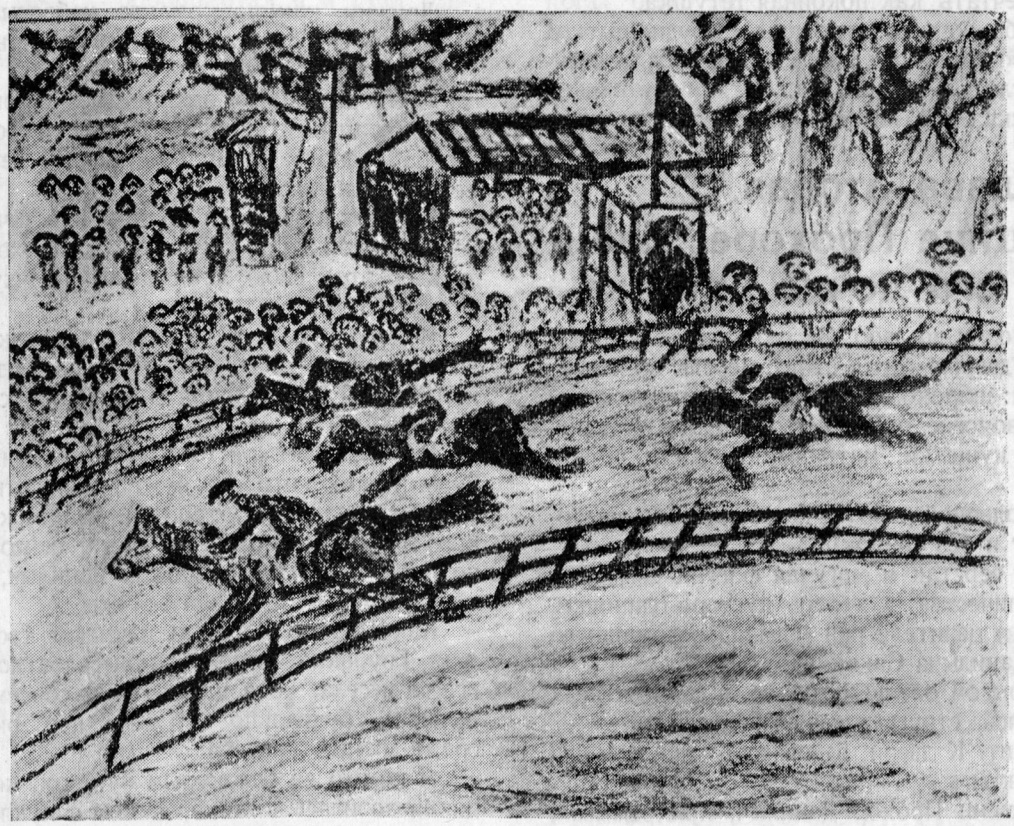
Пионеры в лагерях

Пионерам весело:
Каждый раз
Уезжает в лагерь
Пионеротряд.
По коже барабана
Барабанщик бьет,
Бодро распевая,
Наш отряд идет.
Скорый поезд на вокзал
Через пять минут примчался,
На минуту опоздал,
Пионерию забрал
И, тудя, быстрей помчался.
Утром рано
Горн играет,
Спящий лагерь
Поднимает.
Выстраивается в ряд
«Буденновец»—отряд,
Стали по порядку,
Начинается зарядка.
Солнцу весело — смеется
Над зеркальною рекой.
Пионерия несется
Развеселою гурьбой.
На бегу трусы снимают
И с разбегу в речку бух!
Брызги, брызги поднимают,
Волны, волны нагоняют
На прибрежный на лопух.
«Эй, Петюш!
Давай возьмемся,
Кто скорее приплывет,
А когда назад вернемся,
Лучший премию берет».
«Есть! Идет!»
И под команду,
Успев тучу брызг поднять,
Петя с Гоней рассекают
Водяную ширь и гладь.
Эхо множит, повторяя
Смех и шутки,
Плеск, борьбу,
Брызги радугой сверкают
На спине, руках и лбу.

Деткор *Анатолий Смирнов*

Международная выставка

Рисунок Никиты Фаворского, 11 лет.



Скачки. Рисунок мальчика 12 лет.

Дурное наследство

Рассказ Б. Шатилова *Рис. Ф. Полищук*

глава первая
мечта по наследству

В комнате у меня стоит диван орехового дерева, который перешел ко мне по наследству от тетушки Марьи Романовны.

Диван старый, даже очень старый. Ему лет пятьдесят, если не больше.

По словам тетушки, его смастерил какой-то известный в Туле диванщик, и с той поры его никогда не ремонтировали.

Можете себе представить, во что превратилось это сокровище за свои пятьдесят лет! Он так просижен и пролежан! В таких он буграх и провалах, что это, как говорится, и описать невозможно. А изобразить можно ломаной линией, напоминающей прекрасную панораму Кавказских гор от Казбека до Эльбруса.

И вот на этих-то «Кавказских горах» я и сплю да еще каждую ночь!

В последние годы тетушка Марья Романовна и днем и ночью мечтала починить свой заветный «диванец», но ей так и не удалось осуществить свою последнюю старушечью мечту.

Тетушка умерла, а мечта ее вместе с «диванцем» перешла по наследству ко мне.

И вот каждую ночь, ложась спать и прилаживая к рельефу этой дряхлой канальи рельеф своих тощих боков, я начинаю мечтать как покойная тетушка.

«Эх, хорошо бы починить это подлое орудие пытки! Хорошо бы эти «кавказские горы» превратить в степную спокойную гладь! Хорошо бы...»

Впрочем, рассказ мой совсем не о диване, а

глава вторая
о диванщике Прохоре Даниловиче и его дочке Груньке

Окно мое выходит во двор. За окном в углу двора перед раскрытой дверью сарая стоит мебель всех времен и всех стилей: широкозадые диваны и кресла красного дерева, кривоногие отоманки, похожие на такс, резные кровати, кушетки, матрацы, стулья и всякая всячина.

Все это великолепной работы, но все это облуплено, ободрано, без ног и без спинок!

В сарае виден верстак и могучая фигура «бывшего гренадера его величества, а теперь кустаря-одиночки, аптекаря, лекаря и целителя ран инвалидов домашнего быта» Прохора Данилыча Сакенко.

В ватнике, в лысом оленьем треухе, в старомодных очках, он, сутулясь, стругает еловые брусья.

Фуганок визжит. К двери, завиваясь спиралями, летят свежие стружки.

Время от времени Прохор Данилыч, прихрамывая, выходит из своей конуры и всякий раз изумляет меня своими размерами.

Я сам немалого роста и неузок в плечах, но перед этой громадиной я чувствую себя какой-то фитюлькой. Даже стыдно становится! Как будто и не человек ты, а так, недоносок какой-то!

Щелкнув в ладоши, Прохор Данилыч сгоняет с кресел сонных котов, осматривает своих инвалидов, ставит диагноз их увечьям и недугам и начинает потрошить, выдирать из их дряхлых утроб морскую траву, мочало, войлок и всякую гниль.

Клубится косматая пыль. Коты чихают. А Прохор Данилыч гудит глухим басом давно отпетые песни.

Так он работает с утра и до вечера, если не пьет.

В день запоя во дворе у нас неизменно появляются три оборванца, которых я тоже хорошо знаю. Один из них—букинист—торгует на рынке «лапшой» из Дюма и Майн-Рида, а двое других—ржавым хламом: замками без ключей, ключами без замков и беззубыми пилами.

Все трое—горчайшие пьяницы.

Опухшие, сизые, они робко садятся на диваны и кресла и, уткнувшись носами в сарай, ждут как собаки подачки, когда Прохор Данилыч кончит работать.

А Прохор Данилыч вдруг начинает «валять дурака», притворяется, будто ему недосуг, стругает и пилит, а в глазах озорство и лукавство. Ему, видимо, нравится манежить своих ретивых дружков, которые курят и навивают на пальцы хрупкие стружки.

Когда унылые дружки, отчаявшись залучить с собой Прохора Данилыча, перемигнувшись, встают, чтоб поискать счастья в других закоулках, Прохор Данилыч вдруг весело выкрикивает: «Баста!»—и бросает фуганок в угол.

Дружки как по команде набрасываются на диваны и кресла и с суетливой поспешностью набивают ими сарай доверху.

Прохор Данилыч захлопывает дверь, вешает замок и, прихрамывая, широко шагает к воротам. За ним, щелкая разодранными башмаками, семенят его повеселевшие дружки.

Брякает калитка, и Прохор Данилыч уходит на двое, на трое суток и не считает нужным хотя бы предупредить об этом свою единственную дочку Груньку. Уходит—и баста!

Нехорошо это. Будь мать у девчонки, другое бы дело. А то мать-то померла как раз в один год с тетушкой Марьей Романовной. И девчонка остается одна, без призора.

Что она пьет и ест в эти злополучные дни, не знаю. Знаю только, что она боится ночевать одна и всякий раз, когда запивает отец, приглашает к себе на ночевку кого-нибудь из подруг, и в эти вечера во флигеле, в котором квартирует Прохор Данилыч, идет кутерьма: песни, жмурки и всякая всячина.

Как Прохор Данилыч изумляет своими размерами, так Грунька — своей жизнерадостностью. Грунька всегда весела, хотя жизнь-то ее совсем невеселая. Она выросла, буквально, у меня под окном, во дворе, среди драных диванов.

Я помню ее белокурым бутузом, когда она целыми днями возилась в песке, лазила с куклой по диванам и креслам и поминутно падала, оглашая двор пронзительным плачем. Помню, как Прохор Данилыч—эта громадина—бледный выбегал из своей конуры, утешал свою хлипкую крошку, утешив, сажал на песок и опять уходил стругать и пилить. Помню, как в дурную погоду—в дождь и слякоть—Грунька забивалась в мастерскую

отца под верстак и там, распевая песни, шуршала как мышка смолистыми стружками.

Сейчас Груньке тринадцатый год. Плаксивый бутуз превратился в долговязую девочку с большими глазами и чрезвычайно тонкими ножками как у журавля.

По утрам она бегает в школу и носит красный галстук.

Без Груньки во дворе всегда как-то хмуро и скучно. Глянешь в окно—стоят ребятишки и куксятся, от скуки ревут и лупят друг друга лопатками.

Прибежит Грунька в одежке, из которой давно уже выросла, блеснет своими глазищами—и сразу становится весело. Все скачут, смеются. Грунька командует, и ей все повинуются. Смотришь—ребята с озабоченным видом строят шалаш, вешают тряпку с надписью «клуп», и в этом «клупе» разыгрываются самые забавные игры.

Умчится Грунька домой или в нефтелавку со жбаном—и опять во дворе водворяется скука.

глава третья
Б у н т

Я спал, как вдруг подо мной что-то треснуло и как штыком—больно так—раз!

— А чтоб тебя!..—закричал я, схватившись за бок, и вскочил с дивана.—Проклятая рухлядь! Это, конечно, «Казбек».

Сорвал простыню—так и есть! Пружина «Казбека» прорвала обивку и нагло сверкала как штопор.

Я ткнул ее пальцем. Она ушла внутрь и сейчас же вылезла с треском наружу. Это так взбесило меня! Я обрушился на покойницу тетушку и трижды назвал ее «старой индюшкой».

— Тоже наследство! К свиньям такое наследство! Сейчас же, сию же минуту или к Прохору Данилычу или к дьяволу в печь! — пробормотал я и стал одеваться.

Оделся и прямо к окну. Во дворе пусто. На двери сарая—замок. У порога капель долбит ледок и солнце плавает в луже. Значит, Прохор Данилыч в отлучке, где-то бражничает со своими дружками. Что же делать? Изрубить да в печь? А спать-то на чем же?

Выпил чаю и сел работать.

Через некоторое время смотрю: по двору быстро, быстро перебирая тонкими ножками, бежит Грунька с узлом и с книжками. Из узла торчат вихор и две розовые ножки куклы. Вид у Груньки какой-то встревоженный, странный. Такой я ее еще ни разу не видел.

— Куда это ты? А!—вдруг гаркнул сорванец Валька, высовываясь в форточку.

Грунька вздрогнула, поскользнулась, взмахнула узлом и плюхнулась в лужу. Узел развязался, из него посыпались платья, подушка, кукла, свинья из белой резины и еще какая-то мелочь.

Валька захохотал, а Грунька поспешно собрала свои пожитки и опрометью стрельнула в ворота на улицу.

Следом за Грунькой во дворе появился Прохор Данилыч, трезвый и тоже чем-то встревоженный. Он мрачно посмотрел Груньке вслед и усмехнулся чему-то. Потом вынул ключ из кармана, дунул в него и побрел к мастерской.

— Куда это она? А!—тщетно допытывался Валька, мотаясь в форточке.

Я надел пальто и кепку и пошел к Прохору Данилычу договариваться о починке дивана.

Прохор Данилыч уже выгрузил из сарая своих инвалидов и, облокотясь на спинку трехногого кресла, закуривал.

Мы поздоровались.

— Что скажете?—спросил он хмуро, посматривая на меня как Гулливер на лилипута.

Кустари—капризный народ. А когда они в дурном настроении, так с ними ни о чем сговориться нельзя. Это я знаю по опыту. А мне во что бы то ни стало надо было уговорить его починить диван к вечеру. И вот, чтобы рассеять хмурость его, я пустился на хитрость. Я представил ему в самом комическом виде мое бедственное положение с диваном.

Он захохотал грубо и громко и, бросив окурок, сказал:

— Ну что ж, приносите... сделаю.

— Только уж, пожалуйста, к вечеру, Прохор Данилыч.

— К вечеру? И не мечтайте!

— Да что вы, Прохор Данилыч! А на чем же я спать-то буду? Ведь из дивана-то все потроха уже вылезли.

— Верю. А что я могу сделать? К вечеру я обещал одной старушенции вот это кресло обстряпать.

— Да завтра обстряпаете.

— Ну уж это мое дело!—сказал он, снова нахмурясь.—Как обещал, так и сделаю. У меня такой уж закон. И пока еще никого не обманывал.

«А чтоб тебя чорт побрал с твоими законами!» — чуть не слетело у меня с языка.

— А вы приносите, знаете, когда?—сказал он, подумав.—Лучше всего с утра в понедельник.

— В понедельник?!

Это слово давно уже выпало из моего словаря.

— В понедельник?.. А когда же это... в понедельник?

— Да что это вы и дней уж не знаете? Ровно как Грунька, когда была маленькой. Пристанет бывало: «Папанька, понедельник в понедельник бывает? А почему понедельник бывает в понедельник?» И пойдет плести околесицу. А ведь она ушла от меня,—вдруг сказал он и как бы и сам удивился, что он это сказал.

— Как? Совсем? Чего это она?

— А бес ее знает!

Грунька поскользнулась и плюхнулась в лужу.

И дело-то пустое вышло. Шли мы вчера из пивной. Выпивши были, конешно. Идем, а навстречу нам пионеры подвое в ряд. Сбоку вожатый—чин чином. Ну, а дружки-то мои — вы знаете их — веселый народ, шутники и не со зла, а спьяну, конешно, раскорячились посреди мостовой, растопырили руки и вопят: «Вертайсь! Семафор закрыт!» Пионеры свернули в переулок—и делу конец. Смотрю, в отряде-то и Грунька моя марширует: красная вся, на меня не смотрит. Конешно, некрасиво это все получилось. Ну да не так уж! Пустяки! Шутка и шутка. Вот из-за этой-то чепухи мы и повздорили.

Прихожу нынче утром домой трезвый, конешно. У меня закон уж такой. Пей, гуляй настороне, а домой возвращайся в порядке. Грунька чай пьет и книжку читает. Вы, конешно, не знаете, а она меня очень ведь любит. Иногда просто диву даешься—и откуда у этакой крошки столько ласки берется! С ума сходит. когда домой прихожу, прыгает, скачет, заберется ко мне на колени и начнет рассказывать то да се, кто был без меня, да что в школе случилось. А тут вижу: не в духе, молчит. Я выложил из кармана конфеты, два яблока. «Вот тебе к чаю, говорю». Она и ухом не повела. «А-а, думаю, ежели так! Ну что ж, будем в молчанки играть!» Сел чай пить и тоже молчу. Ну она, конешно, не выдержала. Уставилась на меня своими глазищами.«— И не стыдно тебе? — говорит. — Это же хулиганство, настоящее хулиганство!» «— Да какое же,— говорю,— хулиганство? Шутка — шутка и есть». «—Шутка! Да этой шуткой-то ты меня на весь отряд опозорил!» «—Что-о? На весь отряд?—говорю. —Да начхать мне на весь твой отряд! Вот и все! А если я тебя опозорил, так ты и не живи со мной!» «—Ну что же,—говорит,—и не буду». Собрала монатки—и за дверь. «Опозорил»,—видите ли! А!

И хрустнул креслом. Он тяжело дышал, раздувая ноздри как бык.

— Придет, никуда не денется,—продолжал он, закуривая.—Я ведь тоже бегал. Раз, уже не помню за что, отодрал меня отец гужом по сиденью. Я и удрал на другой конец города, к тетке. Прибегаю — у тетки блины, чай с леденцами. Теткин муж во хмелю был и так меня ласково принял! Вот благодать-то! «Тетенька, говорю, я у вас жить останусь, а то меня тятька бьет». У тетки детей своих не было, и она вроде как с радостью: «—Ну что ж, говорит, оставайся». И дядька спьяну бубнит: «—Оставайся, Прошка, я тебя в люди выведу». Я и остался. Живу день, другой, а на третий—тетка-то ничего, а дядька-то, вижу, косится, как я пироги уплетаю. Скупой и мелкий был человечишка! Была у него своя сапожная мастерская внизу, в подвальном помещении. Вот на третий-то день напились мы чаю, он и зовет меня в мастерскую, указывает на пень и говорит: «Садись, рукомеслу учить тебя буду». Дал дратву, показал, как надо сучить, как щетину свиную всучивать. Скучно мне стало! Рядом со мной ученик сидел, мне, должно быть, ровесник. Сидит и серьезно так шилом тычет в сапог, заплату нашивает. Я щетиной-то взял да и пощекотал ему за ухом. Он думал муха и хлоп себя по уху. Я дернул рукой и банку с клеем прямо дядьке на колени смахнул. Весь фартук залил! Как он звякнет меня башмаком по затылку. Я с пенька-то кубарем! А потом он меня коленом под зад и за дверь. Я и пошел домой с повинной. Вот оно как в чужих людях-то! И это, заметьте, все-таки дядька, родня. А она куда денется? Ведь у нас во всей Москве ни родных, ни знакомых. Пустяки это все! Придет. А тогда я ей крылышки-то обломаю.

Я вспомнил, как Грунька плюхнулась в лужу, и жалко мне стало ее, жалко ее жизнерадостности, ее детской веселости. Конечно, она вернется с повинной. Этот бык обломает ей крылышки, сомнет, сотрет в порошок. А зачем?

— Ну-с, так. А диванчик-то вы в понедельник с утра приносите,— сказал Прохор Данилыч, принимаясь за работу.

— Хорошо. Накануне я к вам еще разок забегу.

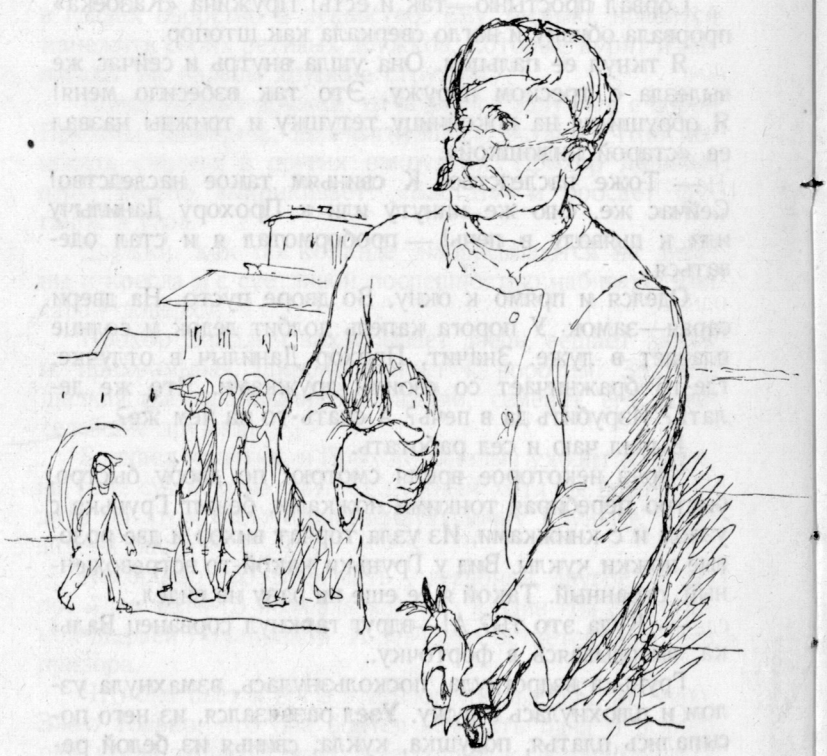
— Зачем? Прямо приносите, и делу конец. Раз я сказал, будьте спокойны. У меня закон уж такой. До свиданья!

Вернувшись домой, я сел за стол, у окна, и начал работать. Я писал книжку о Мичурине. Но мне не везло в это утро. В голову лезли пустые, ненужные мысли. Вместо Мичурина передо мной витали покойница тетушка и этот подлый «диванец».

«Ах, тетушка, тетушка! И как это вас угораздило подвалить мне такую свинью? На чем же я спать-то буду? А?»

И не столько я писал, сколько смотрел за окно, как Прохор Данилыч «обстряпывал» кресло. Через час я бросил перо и ушел из дома.

Вечером, возвращаясь домой, я еще издали увидел Прохора Данилыча. Он стоял у ворот и пустыми глазами посматривал вдаль, в конец улицы, поверх шляп и кепок прохожих. Подмышкой он держал краюху



— Я еще издали увидел Прохора Данилыча.

хлеба, в руке две селедки в обрывке бухгалтерского счета с жирной надписью «Дебет».

Увидев меня, он вдруг чего-то сконфузился, как будто я «накрыл» его за каким-то нехорошим делом.

— А я за хлебом ходил,—сказал он, улыбаясь и словно оправдываясь.—Пару селедочек купил. Еще не обедал.

— А Грунька пришла?

— Нет еще. Да придет. Куда она денется? Не хотите ли чайку со мной?

Мне не хотелось, и я отказался.

Отпирая квартиру, я вдруг подумал: «Э—э! Да уж не затосковал ли он?»

Ведь я сам когда-то в припадке тоски и одиночества приглашал на чаек почтальона. И он тоже тогда, за недосугом, отказался.

глава четвертая
слабость

Грунька не пришла. Впрочем, о Груньке тогда я вовсе не думал. Не до Груньки мне было. У меня своя была горесть—правда, ничтожная, мелкая, но тем более досадная. Дурное наследство меня доканало. Я плохо спал, плохо работал, стал раздражительным, злым и ждал с нетерпением лишь одного—понедельника.

В понедельник утром с замиранием сердца я сдернул с окна занавеску.

«Пан или пропал?»

«Пан!»

Прохор Данилыч открывал мастерскую. Вот он вошел в ее темную пасть, снял пилу со стены, повертел в руках и повесил. Потом закурил, постоял с минуту в раздумье, отмахнул ногой стружки в угол и вышел, запер мастерскую и захромал во флигель.

«Как бы он не улизнул от меня!»—забеспокоился я и, наспех одевшись, побежал следом за ним.

В старом флигеле с темными закоулками я с трудом отыскал жилище Прохора Данилыча—небольшую светлую комнату с цветными обоями.. Заложив руки под голову, Прохор Данилыч лежал на кровати. На полу возле кровати валялись окурки, жженые спички. На столе—грязная посуда, жестяной, бархатный от копоти чайник, картофельная шелуха, конфеты, два яблока и две растерзанные селедки на обрывке бухгалтерского счета. В углу стояла другая кровать—с одним драным матрацом, ничем не покрытым. Над кроватью висели портреты: Ленина в детстве, Крупской, Груньки и двух ее близких подруг.

— Что это вы? Никак заболели?

— Да, нездоровится... Слабость какая-то.

Вот тебе раз! Везет как утопленнику! Впрочем, какое мне дело! Он своему слову хозяин. И у него закон уж такой. Раз обещал—должен сделать.

— А ведь нынче понедельник, Прохор Данилыч. Я так надеялся...

— Это насчет дивана-то?.. Ну что ж, приносите, сделаю.

— Да ведь вы нездоровы.

— Пустяки. Обойдется.

Он встал, чтобы идти в мастерскую. Но тут в комнату ворвался вихрастый Валька с разодранной мордой.

— Грунька дома? Опять нет? Да где же она?

— Где? А где ты морду-то так расписал?—спросил Прохор Данилыч, нахмурясь.

— Это я нечаянно... с крыши упал,—бойко ответил Валька и юркнул за дверь.

— В самом деле, где же Грунька?—спросил я.

— Не знаю.

— Да как же это вы не знаете? Странный вы человек! А вдруг она под трамвай попала!

— Нет. Не может этого быть,—сказал он с уверенностью. Очевидно, он уже думал об этом.—Из школы дали бы знать...

— А вы в школе-то справлялись о ней?

— Нет. А зачем?

— Как зачем? Вот чудак!

Прохор Данилыч отшвырнул ногой окурок под кровать.

— Вы уж извините! Грязь у меня. Раньше никогда этого не было. Да вы садитесь, вот сюда, в креслице.

Придвинул мне кресло, а сам сел на кровать.

Я посмотрел на грунькин портрет, и опять мне жалко ее стало.

— Напрасно вы упрямитесь, Прохор Данилыч,—сказал я,—ни к чему это. Честное слово! Только девчонку зря исковеркаете. У нее своя жизнь, и хорошая жизнь, свои требования. Да и будущее-то уж не вам, а ей принадлежит. Ничего не поделаешь, придется потесниться, уступить ей дорогу. Да и время-то изменилось. Люди-то не те уже стали. Вот вы от тетки-то на третьи сутки домой прибежали. А вот уже и пять дней прошло, а Груньки все нет. И без родни, а нашла себе где-то приют.

— Какой там приют! Что это вы? И ничего не изменилось! Приют! Да, за приют-то она кому-нибудь подштанники стирает да нужники моет. Это как пить дать! И все стерпит ради дурацкой амбиции. Я ее знаю. А я как подумаю, как она это подштанники стирает, так — верите — весь мир готов разгромить. И разгромлю! Честное слово! Разве я для этого ее растил? Я думал она инженером будет. Ведь в ней—вся надежда моя!

Он уперся локтями в колени и опустил голову.

— А в школу все-таки надо сходить, Прохор Данилыч.

— Я уже думал об этом. Да школа-то, не знаю, где находится.

— Как так?

— Очень просто. Грунька-то сама в школу устраивалась. Она у меня самостоятельная девка. Обед мне готовила. Даже рубаху мне шила. А в школе то, признаться, я ни разу не был. Присылали повестки на собранье, я их складывал за зеркало и никогда не ходил.

— Так в повестках-то, наверное, адрес указан.

— А! Так это мы сейчас посмотрим.

Он вытащил из-за зеркала пачку пыльных повесток и надел очки.

— Верно! Вот и адрес прописан. Так я сейчас схожу.

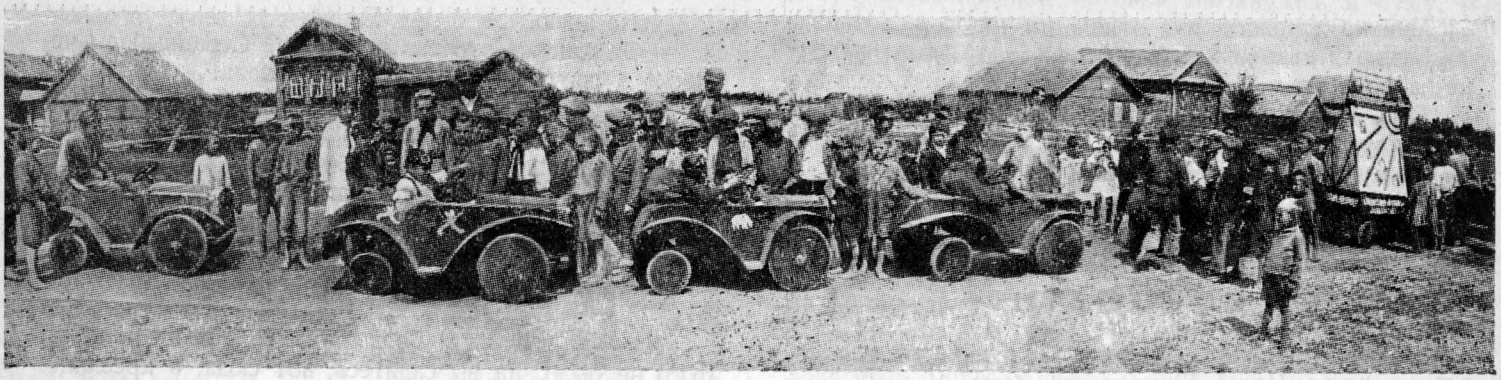
Он оживился, стряхнул с себя слабость, надел пиджак и даже пыль смахнул с громадных ботинок.

— Я скоро вернусь. И в окошко вам постучу. Не беспокойтесь, к вечеру диванчик непременно обделаю.

— Уж, пожалуйста, Прохор Данилыч.

Мы вышли. Прохор Данилыч еще раз заверил меня, что скоро вернется, и зашагал в школу.

(Окончание в следующем номере)



пробег на педалях

Политрук автопробега Н. Ивантер

Автомобили взяли третью скорость. Они мчались с предельной для них быстротой по гладкому шоссе. Рядом с машинами неслась толпа мальчишек. Они то отставали, то нагоняли, то даже перегоняли автомобили.

Что это за необыкновенные мальчики-скороходы, которые состязаются с автомобилями? Нет, мальчики были обыкновенными. Необыкновенными были машины на шоссе Энтузиастов.

* * *

Шоссе Энтузиастов одним своим концом упирается в город Ногинск, другим — в Москву. Весь путь от Москвы до Ногинска — 60 километров.

60 километров должны были одолеть водители машин автопробега Москва—Ногинск. Путь для автопробега не очень большой, но ведь и автомобили не велики: они раза в три меньше настоящего автомобиля, а водители их в столько же раз меньше настоящего шофера.

Пробег был пионерский, автомобили — педальные, а водители сами ребята.

* * *

На всех машинах, участвовавших в пробеге, одинаковые марки ДВК. Что это за автозавод ДВК? Где он находится?

ДВК не завод, ДВК — это большой детский клуб (детский внешкольный комбинат). Все водители машин автопробега — члены этого клуба.

Автомобили делали они же, сами ребята, в автотракторной лаборатории комбината.

Сделать педальный автомобиль не такое уж сложное дело. Но педальные автомобили бывают разные.

Тяжелая, грубая, сколоченная из досок машина для пробега не годилась. На первом же километре ноги водителя устали бы вертеть педали такой машины. Она скрипела бы и визжала на все шоссе и наверняка треснула бы на кочках проселочной дороги.

Машина должна быть красивой, прочной и легкой на ходу.

Но как может быть машина легкой, если ее колеса, сделанные из досок, шероховаты и после небольшой прогулки у них во все стороны торчит размочалившееся дерево? Как может быть легкой машина, колеса которой создают большое трение и затрудняют движение машины?

Выход был найден. Шины! Но где достать шины на маленькие колеса? Кто-то из водителей разыскал старые мотоциклетные шины, разрезал их и обил ими ободья. Машина мягко покатилась по залу ДВК.

Водители очень старались, чтобы их машины походили на настоящие. Руль, колеса, кузов — все это как в большом автомобиле. Но у настоящей машины есть гудок и фары.

Гудки достали легко. Они ревели как настоящие и прохожие испуганно шарахались второну.

Фарами занимались электрики из электролаборатории ДВК. Они поставили батарейки, сделали электропроводку.

Всех автомобилей было восемь: три машины ДВК, грузовик, автомобиль газеты «Пионер Трехгорки», журнала «Пионер», «Знание — сила» и «Мурзилка».

Водитель и конструктор Юша Граевский за два дня до пробега сдал готовую машину художнику «Пионера». Художник вырезал из блестящей жести большого Тут-Итама и прикрепил его на передней части автомобиля, а по бортам масляной краской нарисовал маленьких тут-итамчиков и написал «**Пионер**».

Граевский гордился своим «Пионером», это была самая яркая из всех машин.

Художник хорошо сделал свое дело. Дальше все зависело от водителя.

С горки к воротам фабрики спускалась колонна автопробега.

Впереди двигались восемь машин. Они блестели свежей масляной краской, гудки издавали пронзительные звуки, а фары то зажигались, то гасли несмотря на то, что был яркий, солнечный день. За автомобилями двигался отряд велосипедистов.

В пробеге участвовали 77 чел., 8 автомобилей и 6 велосипедистов. Каждый автомобиль и каждый велосипед везли только по одному человеку. На чем поехали остальные 63?

Остальные ехали на «11 номере» или, проще говоря, двинулись пешком.

Каждый из пеших имел свою специальность. Это были: радисты, фотографы, электрики, музыканты, художники, книгоноши, физкультурники.

— Только не дрейфить, ребята. Не растайте от солнца, не промокните от дождя. Вот вам письмо от трехгорцев к ногинским текстильщикам. Довезите его в целости и сами приезжайте со своими машинами веселыми и здоровыми.

Секретарь парткома тов. Севернянова передала письмо командору пробега. В письме говорилось о том, как рабочие Трехгорки заботятся о детях.

Машины дали гудки. Ворота распахнулись, и колонна выехала за ворота фабрики.

Пробег начался.

До шоссе ехали благополучно. Ребята ничуть не устали. Путь был далекий. Но не было ни одной поломки, ни одного повреждения, ни одной аварии. Однако, скажем по секрету, заслуга водителей здесь была невелика: до шоссе мы ехали на чужих колесах. И машины, и водителей, и всех остальных участников пробега погрузили на пятитонки и так доехали до того места, где дорога сворачивала направо. Шоссе кончалось, и начиналась проселочная дорога.

* * *

«Стали быстро снимать
мы машины.
И взяла тут Крейселя
дума:
Не порвутся ль надежные
шины
В этих диких песках
Кара-Кума?»

(Из стихотворения Жени Сергеева. **Крейсель** — водитель одной из машин).

Пески, действительно, походили на каракумские. Колеса в них вязли до осей, рядом не было ни одного достаточно широкого места, по которому можно было проехать, не увязнув в песке.

Шоферы давали гудки, нажимали на педали, но у колес не было упора, они вертелись вхолостую, оставляя глубокие ямы, но не сдвигаясь с места.

Кто-то из водителей притащил сухие ветки, подложил их под колеса, сзади подтолкнули, и машины тронулись до первого привала в Салтыковке.

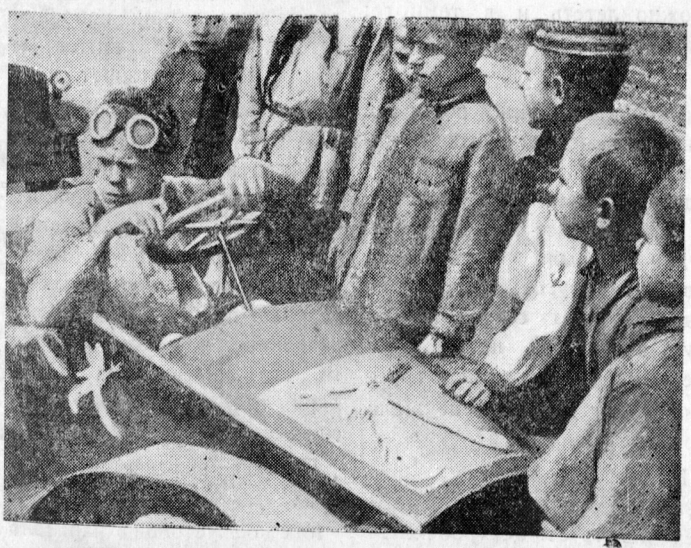
Все тронулись, а один остался. Это был Юша Граевский, водитель «Пионера». Машина лежала на боку, но Тут-Итам воткнулся в песок, а Граевский приколачивал колесо, которое не выдержало первого испытания.

В Салтыковку они приехали в одно время — и Граевский и автомобиль «Пионера», но кто кого вез до Салтыковки. автомобиль Граевского или Граевский автомобиль — об этом знают только они. Ведь сзади них никого не было.

* * *

«И не зря подымались споры,
Что не машины шоферов везли,
Кое как выбирались шоферы
И машины с собою несли».

(Женя Сергеев).



Водитель „Пионера“ Юша Граевский на своей машине. Редакция журнала премировала его за успешный пробег.

Переночевали в Салтыковке. Еще вечером электрики привели в порядок фары (они оказались самыми ненадежными из всего оборудования, водители осмотрели машины, починили их.

Рано утром тронулись в путь.

Далеко растянулась колонна автопробега. Впереди ехали велосипедисты-разведчики, за ними — автомобили.

Хорошо ехать по гладкому шоссе! Мягко катятся колеса, одетые в резину...

Вот на дороге стоит большой блестящий автомобиль «линкольн». У него авария. Шофер лежит под машиной, не видя, что делается вокруг. Нахальная «Мурзилка» под'езжает к самому шоферу.

— Дяденька, давай возьму на буксир, а то не доедешь до Ногинска.

Шофер высовывает голову из-под машины и хочет выругаться, но на полслове останавливается. Он еще никогда не видел машины с таким мотором. Он видит странный мотор маленького автомобиля, быстро мелькающие ноги и педали.

Колонна идет дальше, солнце поднимается выше. Становится жарко. Утром пустынное шоссе оживляется, ими проезжают автомобили. Многие из них останавливаются. Шоферы вылезают из кабинок и разглядывают автомобили-лилипуты. За колонной уже давно бежит толпа ребят из соседних деревень.

Привал. Неутомимые водители осматривают машины. Радисты натягивают антенну.

Посреди поля поставили черный ящик, из него торчат чьи-то ноги. Это походная фотолаборатория, сделанная ребятами специально к походу. Через полчаса будут готовы снимки для походной стенгазеты «За рулем».

* * *

Три дня двигалась колонна. Разные это были дни: то моросил дождик, то солнце палило так, что лицо становилось меднокрасным, а колеса автомобилей липли к асфальту шоссе. Но никто не сдрейфил, никто не захныкал. 8 машин и 77 участников пробега прибыли в Ногинск.

— «Поход окончен. Машины пришли в Ногинск в полном порядке. Водители и участники пробега здоровы и бодры. Письмо передано по назначению».

Так рапортовали командиры отрядов.

* * *

Когда пробег кончился,—лучших водителей машин, участников пробега, премировали. Но лучшей наградой для всех было приветствие человека, на которого с уважением смотрят все автомобильные специалисты и на которого хотели быть похожими все участники пробега, водители машин.

Вот это приветствие:

«Поздравляю Вас с первым успехом!

Инициатив; автопробегов даже на педальных автомобилях нужно всячески поддерживать и приветствовать. Организация таких пробегов и сами пробеги возбуждают интерес к автомобилю у наших юных друзей.

Вы закончили свой первый пробег.
Поздравляю вас с первым успехом и уверен, что вы явитесь в дальнейшей своей работе передовыми ударниками за наш советский автомобиль, борцами за культурное отношение к нему, за хорошую дорогу.
Желаю дальнейших успехов юным водителям.
Привет!

А. Мирецкий (командор автопробега Москва—Кара-Кум—Москва)».

„ПИОНЕР" на самолете

Как вы думаете, можно на автомобиле проехать километр совсем прямо?

Когда подумаешь, кажется, нет ничего проще! Закрепить руль, пустить автомобиль—и проедешь.

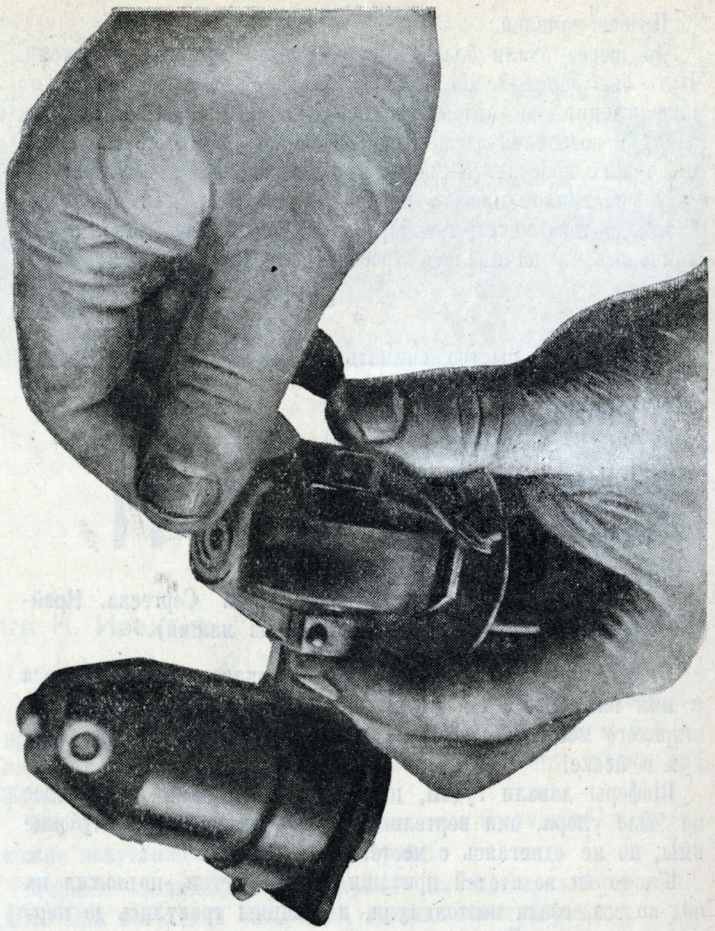
А на самом деле оказывается,что ехать прямо на автомобиле невозможно. Ведь под колеса все время попадают маленькие камешки, неровности пути, песок... И все эти препятствия поворачивают автомобиль то вправо, то влево.

А на самолете? Ведь там нет ни камней, ни песку. Кругом, со всех сторон,—воздух. Но и на самолете лететь прямо невозможно, потому что воздух никогда не бывает спокойным. Вот летит самолет, вдруг сбоку налетит порыв ветра, чуть-чуть толкнет—и самолет уже сбился с пути. А тут другой порыв ударит снизу, да еще не ровно ударит, а по одному крылу. Самолет сразу завалится на бок и потеряет равновесие.

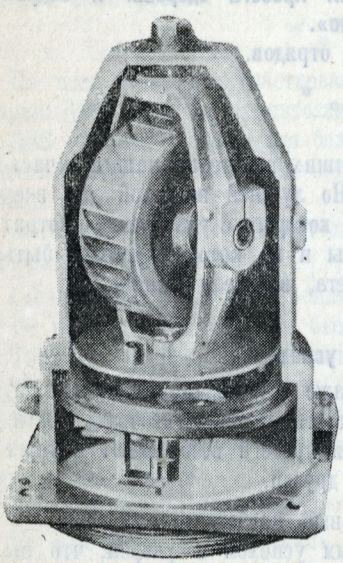
Так на самом деле и падали первые самолеты, пока братья Райт не придумали очень хитрое устройство. Они поставили на задних концах крыльев своего первого самолета маленькие подвижные крылышки вроде рулей. При этом крылышки устроены так, что когда одно выгибается кверху, другое загибается вниз. Управляются эти крылышки ногами. Ветер от пропеллера, налетающий все время на самолет спереди, давит на эти крылышки и не дает самолету заваливаться на бок. А летчик во все время полета смотрит на горизонт и, как только видит, что самолет получил крен, сейчас же крен выправляет.

Но ведь не всегда виден горизонт. Вот недавно, когда герои Советского союза спасали челюскинцев, им приходилось лететь в тумане, темноте и пурге. В такую погоду летишь как с закрытыми глазами. Направление еще можно держать по компасу, а вот крен как узнать?

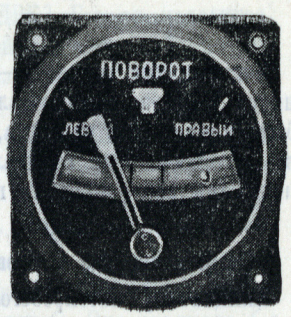
Оказывается, очень просто: по уровню. Вы, конечно, знаете, что такое уровень. Это запаянная с обоих концов стеклянная трубка, в которую налита вода. В трубке плавает пузырек воздуха. Если пузырек находится в середине трубки,—значит, трубка лежит горизонтально. Этот прибор называется уклономер, и по нему летчики определяют крен. С'ехал пузырек направо, — значит, самолет наклонился налево. С таким прибором можно лететь и в темноте: на сторону не свалишься.



Здесь весь прибор в собранном виде, только снят циферблат и срезана крышка. Когда работает пропеллер самолета, ротор вертится. Уклономер устроен по принципу волчка. Волчок, вертясь, всегда сохраняет вертикальное положение. В уклонометре тоже есть вертящаяся часть, благодаря которой он и при наклоне самолета не наклоняется и сохраняет свое первоначальное, горизонтальное, положение.



Тут изображена часть этого прибора, называемая ротор. Ротор—колесико, оно очень быстро вертится как волчок, только стоит не вертикально, а горизонтально.



Пузырек стоит посредине, а стрелка наклонилась влево. Это значит, что самолет делает правильный вираж и наклонился настолько, насколько нужно. Центробежная сила удерживает пузырек посредине трубки, а рамка с ротором и стрелкой наклонилась на сторону. На самом деле рамка стоит горизонтально, а наклонился самолет. Ясно, что он наклонился налево.

Но вот самолет начал поворачиваться. При повороте он непременно должен наклониться, или, как говорят, сделать вираж (так же как и велосипедист на повороте). Одно крыло поднялось кверху, другое опустилось вниз. Самолет совсем на боку... а пузырек на уклономере стоит посредине трубки. В чем же дело, неужели прибор испортился?

Ничего подобного, все правильно, только на пузырек действует центробежная сила, так как самолет на повороте летит по кругу. Это та самая сила, которая не дает воде вылиться из ведерка, если его раскрутить на веревке, и не дает крутящемуся волчку свалиться на бок.

Вот эта-то сила и губила многих летчиков, когда они летали в тумане и в темноте. Начнет летчик поворачиваться, самолет ляжет на бок, и летчик не знает, в какую сторону надо его выправить.

Долго не могли придумать такого прибора, который показывал бы летчику правильный поворот, но в конце концов придумали замечательный прибор. Самое замечательное в этом приборе то, что действует он благодаря той же центробежной силе.

Прибор называется «Пионер».

Как он устроен, написано под фотографиями, помещенными на этой странице.

зоркий глаз

какая у тебя рука?

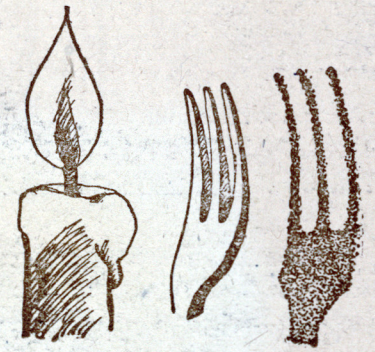
Удивительно, до чего ненаблюдателен человек. Один очень простой пример подтверждает это.

Все мы по нескольку раз в день смотрим на свои руки и, однако, ничего в них не замечаем и не запоминаем.

У людей руки бывают трех типов: у одних безымянный палец короче указательного, у других, наоборот,—длиннее и, наконец, у третьих оба пальца одинаковы по своей длине.

Пусть кто-нибудь из ваших знакомых (или же вы сами) попробует, не глядя на свои руки, вспомнить, к какому типу принадлежит его рука.

Из десяти человек только один ответит правильно, да и то случайно, наугад.



тень от вилки

Художник нарисовал освещенную свечей вилку в двух положениях: в горизонтальном и вертикальном.

На обоих рисунках художник изобразил тени от вилки одинаково отчетливо.

Между тем на самом деле тени получаются разные: одна отчетливая, а другая размытая.

В каком положении — в горизонтальном или вертикальном—тень от вилки будет более отчетливой?

как без клея приклеить бутылку к тарелке

Возьми пустую бутылку и подержи ее над кипятком горлышком вниз до тех пор, пока она не наполнится паром.

После этого сразу же поставь ее в холодную воду и покрой тарелкой, предварительно смазав края горлышка салом или вазелином.

Через некоторое время можно будет поднять тарелку вместе с крепко приставшей к ней бутылкой.

крепкая соломинка

Возьми непомятую ржаную соломинку и осторожно согни ее так, как показано на рисунке. Согнутую соломинку опусти в графин с водой так, чтобы конец ее уперся в боковой выступ графина.

Теперь возьми рукой верхний конец соломинки и подними вверх. Графин будет держаться на этом хрупком стебельке.

Цена 25 коп.

23978

БИОСКОП

ИЛИ СООБЩЕНИЯ ИНЖ. ГИДРОЛЮБОВА О ВЕЩАХ МЕЛКИХ И КРУПНЫХ, ВИДИМЫХ И НЕВИДИМЫХ, ОТДАЛЕННЫХ И БЛИЗКИХ, ИЗВЕСТНЫХ И НЕИЗВЕСТНЫХ

Обычно думают, что Ленинград—более дождливый город нежели Москва. На самом же деле в Москве за год выпадает больше воды чем в Ленинграде.

●

Если скорость течения в одной реке вчетверо больше чем в другой, то быстрая река может перекатывать по своему дну камни в 4096 раз более тяжелые чем медленная.

●

Длина среднего шага взрослого человека обычно равна половине расстояния его глаз от ступни.

●

У большинства людей ширина ладони равна расстоянию между концами среднего и указательного пальцев, раздвинутых возможно шире.

●

Странные явления произойдут, если начать охлаждать предметы жидким воздухом.

Шляпа при ударе молотком разбивается вдребезги.

Оловянную чашку так же легко разбить как и фарфоровую.

Граммофон начинает визжать.

Цветок, упавший со стола, превращается в осколки. Лепестки розы легко можно истолочь в порошок.

Спирт невозможно зажечь. Зато он взрывается от удара.

Яичная скорлупа начинает светиться в темноте голубым светом, вата — зеленым.

Мясо бледнеет, приближаясь по цвету к лимону.

Фрукты, наоборот, краснеют.

Кусок сукна в лучах электрической лампочки испускает синий свет.

●

Отв. редактор Б. ИВАНТЕР Худ. редактор М. АСКИНАЗИ Издатель: Издательство ЦК ВКП(б) „Правда"

Сдан в набор 14/VI—34 г., подписан к печати 27/VII—34 г. Изд. № 698 Формат 1/8 62×94 см. 1 1/8 б. л. 135.000 п. зн. в бум. л.

Уполномоченный Главлита № Б-83087. Типография газ. „Правда", Москва, ул. Горького, 48. Заказ № 2030 Тираж 40 000 экз.